

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive *Project for the Study of Dissidence and Samizdat*, ed. Ann Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 2 (1976) at the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 75.

[**FRONT PAGE i**]

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive *Project for the Study of Dissidence and Samizdat*, ed. Ann Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 2 (1976) at the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 75.

[**FRONT PAGE ii**]

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive *Project for the Study of Dissidence and Samizdat*, ed. Ann Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 2 (1976) at the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 75.

[**FRONT PAGE iii**]

[Наташе и Боре с пожеланием счастья от редакции]

II

Содержание.

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| Кривулин Б. и Горичева Т. | Евангелические диалоги. | стр. 1 |
| Иванов Б. | Учитель и ученики. | стр. 9 |
| Суицидов И. | Взгляд зрителя на духовное в искусстве. | стр. 15 |
| Кривулин В. | О духовном взгляде на духовное. | стр. 32 |
| Охапкин О. | Семь стихотворений из сборника "Моление о чаше". | стр. 41 |
| Сомов Г. | Cholera Morbus (глава из романа) | стр. 55 |
| Нечаев В. | Летний отпуск художника (рассказ) | |
| Рудкевич Л. | Возраст и творчество. | |
| Флоренский П. | Итоги. | |
| Мальтус Р. | Очерк теории народонаселения. | |
| Хайдеггер М. | Язык. | |
| Хроника. | | |

В. Кривулин –
Т. Горичева

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

ВОЗНИК И СПОР МЕЖДУ НИМИ, КТО ИЗ НИХ ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ БОЛЬШИМ? ОН ЖЕ СКАЗАЛ: ЦАРИ НАРОДОВ ГОСПОДСТВУЮТ НАД НИМИ, И ИМЕЮЩИЕ ВЛАСТЬ НАД НИМИ НАЗЫВАЮТСЯ "БЛАГОДЕТЕЛЯМИ". А ВЫ НЕ ТАК: НО БОЛЬШИЙ МЕЖДУ ВАМИ ДА БУДЕТ КАК МЛАДШИЙ, И НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ КАК СЛУЖАЩИЙ.

Лк. 22, 24-26.

а/ Петр и Фарисей

В. К. Спор возникает после слов Иисуса: один из вас предаст Меня. Апостолы, пребывая в общении с Господом – в живом общении – когда "жених еще в доме", - не утвердились полностью в отрицании самости: любовь их к Богу существует на глухом, тайном фоне еще не снятого, еще огнем не преображенного "Я". И поэтому возникает вопрос о месте в Царствии Небесном – как зеркало вопроса: кто из нас предаст Тебя? Но только зло построено на локальном. Только зло имеет проекцию в конечную сферу неподвижной земной иерархии – только зло признает однозначность земной государственности. Петр, поддерживающий беседу о месте – большем или меньшем /в Евангелии от Иоанна его собеседник –

Иоанн Богослов/, – уверен в однозначности и силе своей любви к Иисусу. Он уверен – и в этот момент его любовь к Христу под угрозой. Вдруг – как трещина в фундаменте – слабый, но все-таки заметный оттенок перенесения в духовные отношения устойчивой: "государственной" иерархичности. Поэтому он уверен, что будет устойчив в любви и предан, поскольку для него сейчас не разделены отчетливо духовное и мирское царства. В нем брезжит слабая надежда примирения родовой веры с образом Иисуса, надежда, что Иисус – прежде всего Царь иудейский, а затем только – Сын Божий. Но в духовном нет устойчивости, нет опоры и однозначности – нет до тех пор, пока человек не обратится внутрь себя и пока греховность его не будет высвечена, обнаружена ему самому. Петр будет иметь возможность убедиться, хотя бы на мгновение, - "и вышел вон, плача горько", – в своей неуверенности или неустойчивости. Поэтому: "меньший в мире" – имеется в виду скорее всего самооценке – будет большим и более устойчивым в духовном.

Т. Г. Соблазн считать себя "большим" в духовном не менее велик, чем соблазн мирского начальства. Духовные ценности не демонстративны. Необъективность их природы загоняет мысль в бесконечные умствования, в гордость – в гедонизм прелести. Современный гностицизм уверен в своей близости к Богу не менее, чем древний. Его молитвой навсегда останется фарисейское: "Боже! Благодарю Тебя, что я не как прочие люди: грабители, обманщики, прелюбодеи,

или даже, как этот мытарь". /Лк. 18, 11./

Правда: отсутствие критериев, учителей и привычка к лени изменили облик отечественного Фарисея. Он, презирая мирское, не стыдится быть мытарем: и, будучи обманщиком, пьяницей и бездельником /Дух выше всего – даже этики!/, благодарит Бога за свою избранность и отмеченность, за прекрасные сны и головокружительные откровения, на фоне которых и любое евангелие – лишь объедки со стола Духа. Вот это-то фарисейство, "пьющее абсолют как воду", - страшнее любого другого. Не зря Господь посылал одного из величайших своих служителей обучаться смирению у сапожника. Затвердевание и застылость противоречат служению, они сгущают духовный мрак, они – та непрозрачность, которая мешает видеть Бога.

"Непосредственный контакт с Богом" оказывается на деле грехом отъединенности. Но пожелавший стать рабом Божиим усваивает всю хитрость демона.

В.К. Есть две вещи, о которых здесь говорится вскользь, но которые, на мой взгляд, определяют духовный порыв для многих, искреннее тяготеющих к духовному: это, во-первых, отсутствие учителей, учителей живых, во плоти, здесь в нынешней России, и, во-вторых, – огромная, ничем не заполняемая пропасть, которая отделяет евангельского фарисея от современного молодого человека. Фарисей – человек, все-таки искушенный Законом, и если, как говорит апостол Павел, законом выявляется грех, – то фарисей – человек грешный по невозможности совместить в себе буквальное

и подлинное исполнение закона. А современный "гедонист-гностик" в своем тяготении к духовному еще не дошел до сознания необходимости закона, вернее от социального закона, от "общественного договора" он вполне благополучно уклонился, "перерос" его, а о духовном – и слышать не хочет, ибо принятие духовного закона означало бы для него обуздание самости – то есть как раз того, что как наибольшую ценность приобрел он, высвобождаясь из-под бытового гнета тотальной пошлости и житейской мудрости. И к тому же он не может никому верить – никакому наставнику. Отношение "учитель-ученик" не для него – это тоже одна из форм подчинения, по крайней мере, он всегда был бы не прочь выступить в роли учителя, но роль ученика всегда представляется ему слишком мирской и ограниченной – для его духовных потенций. И поэтому у него нет учителей, которые могли бы утолить духовную жажду его – он осознает острейшую нужду в них, и боится одного предположения, что учителя могут существовать сейчас, здесь: тогда ему пришлось бы решиться на ученичество. Он вынужден – и это едва ли не главная причина его гордыни – сам форсировать собственные духовные усилия – а поэтому постоянно ошибается, не соразмеряя сил.

Его опасения в том, что он никогда не перестает ощущать себя грешным и недостойным – ведь и он видит, даже если и не хочет, свои ошибки, ведь и он страдает от последствий своей отъединенности, ведь ему в порядке компенсации

приходится постоянно доказывать свое духовное превосходство – даже не прекращающаяся симуляция духовных состояний, даже это ложь, в которую втянуто его сознание, не способна превысит его самоотрицание, его самоотвращение и отчаянье. И оно, отчаянье это, есть в каком-то смысле путь: оно позволяет ему, безвыходно находящемуся в предельно противоречивой ситуации, позволяет надеяться надеждой беззащитной и безосновательной, в которой – его единственная подлинно духовная возможность.

б/ Нужда в нищете.

Т. Г. Вечность становится временной, это значит: нет успокоения и нет отдыха. Нет той точки, что была бы духовным "акме", или абсолютным мгновением, за которое простится все. Все человеческое простится, лишь пройдя через огненный поток саморазоблачения. Горячим, а не теплым будет служение Духу. В нем не должно быть ничего, оставленного "про запас", никаких маленьких утаек или всеочевидных достоинств. И если Царство небесное подобно горчичному зерну, то грех может быть и того меньше. Он, в силу своей невидимости, может скрываться не только в откровенности заблуждения и порока, но и в вещах, уважаемых всеми, например, в таланте. Ведь талант – это отнюдь не самый низкий горб у верблюда, и протащить его

через игольное ушко так же трудно, как и прочие эстетические и душевные достоинства личности. Богатство предполагает зависимость не только от денег, но и от других даров, источник которых часто забывается. Они превращаются в маленьких богов, чье тусклое мерцанье приковывает взгляд и делает неверным "взявшегося за плуг", ибо заставляет его оборачиваться назад.

Служащий, собственно, устремлен к одному – не быть большим. Богатый – стать нищим.

Мы живем в то время, когда нищим быть, с одной стороны, необычайно просто, но с другой – необычайно трудно. Просто потому, что свобода внешних передвижений и действий для нас чрезвычайно ограничена, и непомерные претензии "стать чем-то в мире" рано или поздно наталкиваются на необходимость целой серии малых или больших неправд и губящих душу компромиссов. Но "человек – это существо, ко всему привыкающее", и на самом дне социальности мы найдем гордыню, которую болезненное ощущение подполья превратило в единственное прибежище для личности.

В. К. Действительно, всегда есть опасность, связанная с двойственностью подпольного существования: создать, желая возмещения за социальное унижение, субъективную, "зыблемую скалу ценностей", сводящуюся только к перемене знака. Но это будет лишь переименование, а не переход от низшего к высшему, – не переход в духовное, а лишь новый вариант перераспределения элементов материального.

Не об этой подмене говорит Иисус. Сознание каждодневной униженности всего человеческого в человеке может привести к полному нравственному оуплению, может породить только глухую обиду – что: собственно, и происходит со многими из живущих здесь. Но сознание униженности в мире необходимо, если ты стремишься знать больше, чем все вместе взятое, что способен дать мир. Сознание это не должно ни в коем случае основываться на социальном детерминировании – оно должно быть добровольным, а не вынужденным – как постоянно совершаемый акт выбора – и тогда оно оправдано, так как исходит из недостижимого и направлено за предел достигаемого здесь алкания. В современной России, где понятия "власть" и "зло" настолько тесно и органично слиты /"Власть отвратительна, как руки брадобрея"/, что "быть начальствующим" никогда не подразумевает "быть служащим", поскольку функции эти жестко разграничены и никогда не совпадают в одном человеке в один и тот же момент: кому-то подчиняясь и над кем-то главенствуя, человек-чиновник – экзистенциально пустое место между двух служебных личин – всегда обращен во вне только одним /в зависимости от ситуации/ ликом, – в современной бюрократической России обретается множество личностных миров-монад, каждый из которых удаляет от себя всякое сознание объективности и бесконечности жизни – каждый предельно и локален, или, что то же самое, не имеет внутренних границ, аморфен, а потому, чтобы существовать,

нуждается в жестком механическом сдерживании. Таков человек подполья – неприкаянный двойник человека-чиновника.

Т. Г. Аморфность современной жизни рождает ряд идиосинкразий. Высшие ценности еще отнюдь не очевидны. Страх – единственная пружина многих поступков. Ничтожное и иллюзорное приобретает мистическую власть над умами. "Реализм" в современном смысле слова потерял все платоновские оттенки. Реальны вновь: пустая и полурабская деятельность /боязнь быть вне социума/, мнение родственников и заботы по поводу вечно ускользающего куска хлеба. Все общие идеи служат, по мнению "реалистов" лишь одному – они прикрывают тщеславные устремления, и возникают только тогда, когда человеку "уже нечего терять". Далее, они вредны, потому что могут отнять реальный кусок хлеба у тех, кто надеется быть сытым. Однако страх потерять себя и превратиться в небытие открывает для личности "узкие ворота" другой реальности. Единственный путь к "страху Божьему" – это бесстрашие. Бесстрашие перед лицом неподлинного, а также готовность к духовной одиссее, предполагающей отказ от большего: "не берите себе ни золото, ни серебро, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух рубашек, ни обуви, ни посоха. Ибо работник достоин пропитания своего." /Мф. 10, 9-10./

Февраль 1976.

Б. Иванов

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ

Неисчезающее различие между теми, кто в поисках истины дошел в своем скептицизме до конца – абсолютного скептицизма, и теми, кто получает истину из рук учителя готовой. Последние всегда склонны видеть в истине нечто твердое, устойчивое, "объективное", их Бог – это производство истин, за которые всегда можно ухватиться в любой момент бытия. Абсолютный скептицизм – это не только мощное проявление человеческого духа, – скептицизм вводит в духовное, как в свое собственное царство. Покаяние, крещение в христианской вере – ритуализированный скептицизм. Христос – /не Он его установил/ – крестился и очищался сорок дней в пустыне.

Глубины скептицизма не адекватны нигилизму, который в конце концов, интенсифицирует негативные психологические состояния, обращая их в трагические жесты и в героизм исключительности. Нигилист обращает бытие в сцену, в других зрителей. Он не знает напряженность инкогнитивности. Он слишком обеспокоен тем, как выглядит. Он приковывает к себе, а не к истине, он пытается заворожить, не прояснить. Христос говорит; отруби руку, если рука соблазняет тебя. Это почти не метафора.

Скептицизм веет в словах Иисуса о "больших" и "малых", "начальствующих" и "служащих": и те и другие *ничто*, ибо ни те, ни другие *не знают о бытии*, а лишь *относятся к нему* в разрыве между тем, что есть и будет, и тем, что о бытии полагают. Можно выразиться так: перед бытием Христос стоит с перечеркнутым сознанием и потому бытие Ему *открыто*. Он перечеркнул спор апостолов и фарисеев, чтобы возвратить им открытость. И в этой открытости Петр увидел *себя*, – не большого и не малого, но тем, каким он только и может войти в историю: учеником, который трижды предаст своего учителя.

Предполагается, есть то, что можно отнести к доблестям учеников: преданность учителю, верность его призывам и жизненной позиции. Когда мы говорим о Сыне Человеческом, мы не можем интенсифицировать ни ситуацию, ни то, что Он говорит, – как это делаем мы, чтобы "лучше понять" ситуацию и ее смысл, – ибо не мы, а Христос интенсифицирует то, что относим к "проблемам" духовности. Истина Христа остается сокрытой, если мы не отдаемся Его предельности, и тогда: Он всегда Учитель, мы всегда ученики, с отделенностью от Его истины, и, следовательно, – всегда ученики плохие, а, стало быть, Его предающие. Христос так говорит об учениках: "Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его." /Мф., 10, 24-25./

Христос повторяет: "Не соблазнитесь обо Мне!" Ибо, действительно, духовное не может быть *присвоено*. Мы не соблазнимся во Христе в одном случае, если Его опыт абсолютного скептицизма откроет нам *бытие*, царство *духовного*, и – Бога, – вне предварительных условий.

... Я бы спросил: так ли уж сильны наши покаяния? Если нет, то всякое наше знание – *фарисейское*, ибо фарисей и при покаянии за что-то крепко держится: закон или социальное положение, свои познания или профессиональный престиж. Ведь не только с богатством трудно войти в Царство Небесное... Фарисейство – всегда ученичество, Фарисеи, книжники в Евангелиях неразличимы.

Преодолевая соблазн Христа, мы входим в истину Иисуса... И Петр, как ученик, неправ, и когда предаёт учителя, и когда поднимает меч в защиту Его. Ибо прав не тот, кто к Христу так или иначе *относится*, но тот, кто пребывает в истине Христа, но тот, кто наследует Его духовность. Итак, мы не знаем Его, Его тень не пересекает нашу дорогу и не падает на нас. Мы в пустыне – и ни один готовый смысл не удовлетворяет нас. Нам ничего не нужно и мы ничего не просим – ни царства, ни радости плоти, ни тех, кто пришел бы нас выслушать, но что мы продолжаем верить, за что мы продолжаем держаться и здесь, в безрадостнейшем месте во всей вселенной. У нас есть свои искусители, которые возвращают нас в мир. Иногда они цитируют тексты, – может быть, лучшие тексты.

Произнесем искусителям в ответ другие цитаты из этого же великого текста, но которые говорят о противоположном. Блажен тот, кому открылось исчезновение смыслов – не исчезновение бытия, напротив, теперь он увидел Океан Бытия, его длительность как непрерывный свет. Господь словно заглянул в эту безрадостную пустыню... И разве ты не сын Его? Не ученик, а сын.

Сын несет истину бытия, истину Творца, да пусть не соблазняют его искушение – стать творцом. Сквозь ложь и фальшь толкующих о Боге: как будто в цитатах и ритуалах Бог остановил вселенную, – пройти следует. Христос – Новый Завет. Дух – всегда Новый завет, сын – это Новый завет и освобождение от бремени неудобноносимых; освобождение Бога в сознании человеков. Стоит ли нести истину Творца? Не стоит ли насладиться ее созерцанием? Ответа нет. Вот в истине спасающиеся! Но Христос – спаситель, и говорит: "Я есмь путь!" Он освободитель бытия, всюду, где Он есть: "Я принес бытие и с избытком."

Христос не говорит ученикам: сперва прочтите в новых местах мою Нагорную проповедь, а потом передайте им мою идею о том, что ближние – враги человека. Он верит, что истина в духе /духовности/, и истина в актуальности. Дух знает, актуальность подскажет. О каком риске можно говорить! Идите и говорите!

Христос не ограничивает круг тех, кому стоит говорить и к кому не стоит обращаться с духовным словом. Ибо грех ли – неведение? Отсчет греховности с момента познания истины. Он говорит с мытарем и блудницей. Много званных, но мало избранных. Но званы все. Иисус посылает учеников для того, чтобы *все знали истину*, – и с этого знания начинается новое исчисление, новозаветное время. И для каждого новозаветное время начинается, когда он истину узнал и в нее поверил. Иисус не предоставляет кому-либо алиби: "А я и не знал, а мне не говорили!"

Есть гордость учеников, особенно успевающих. Они, действительно, достойны уважения, но их гордость профанирует глубину той истины, которую обрели. Они забывают о тех трудностях, которые преодолели и слишком занижают цену духовной освобожденности. Лучший ученик Петр должен помнить, что он трижды отрекся от Учителя. Реальные трудности духовного роста не преодолеваются унижением духовных проблем, встающих перед человеком. Человек идет *от – к*, если он идет от Ветхого Завета к Новому – ясно, что это не просто. Решительность веры не скрывает то, что следует преодолеть.

Христос не мог бы сказать: "Перед нами чиновник, Я скажу, кто он такой." Он никогда не говорит о человеке, как о вещи, он говорит с *духовным ядром человека*: "От себя ли ты говоришь?" Если Иисуса нельзя узнать через роль, то и других Он узнает иначе.

Он возвращает человеку свободу, ибо Его истина может быть постигнута в свободе. Духовное познание заглядывает за вещьность и видит свободу там, где возможности бытия принесены в жертву необходимости. Посредник между Богом и Человеком, он не говорит: Я – Дух, ибо дух веет, где хочет. Таков реализм Христа, странствующего на земле как в духовном пространстве, в той реальности, которой Он Бог, ибо Сам – *абсолютная духовность*.

Христос может опрокинуть столы менял, но Он *не ударит* человека. Удар меча Петра – это удар по вещной оболочке, которая в слухе Христа подобна звону ведра или стука по бревну. Подобны этому стуку и слова фарисеев, которые овеществляли человека и думали, что знают человеков. Он говорит так, что там где была необходимость, сознание отныне мыслит альтернативами. Мир Евангелия – движение и мир колебаний, духовных перерасчетов и выборов радикальной ответственности. Колеблются фарисей и книжники, Пилат и Иуда. Мир поколеблен до оснований, ибо осознал или обрел привкус духовного освобождения или оказался, по крайней мере, перед лицом духовных проблем.

Там, где человек овеществлен, нет ни Христа, ни Христианства. В неизменности определений отъединенность от духовности. Так возникает и та преданность Иисусу, которая поражает чудовищностью своих плодов.

И. СУИЦИДОВ

ВЗГЛЯД ЗРИТЕЛЯ НА ДУХОВНОЕ В ИСКУССТВЕ.

Слово "Дух" (подобно слову "бытие") – одно из самых неприкаянных в современном русском языке. Оно выступает замещением слов "религиозное", "нравственное", "возвышенное" и даже слова "культура". После недавних художественных выставок в Д. К. им. Газа и "Невском" в разговорах ленинградских художников и их поклонников ссылка на духовность в искусстве мелькает постоянно. Постигание и выражение духовного средствами живописи провозглашается насущной целью и одной только заявкой того или иного художника на некую духовную значительность своего творчества достаточно для патента на всеобщее уважение. Однако сомнительно положение, которое само слово "Дух", как уже говорилось, занимает последнее время в языке, заставляет в первую очередь задать вопрос: что скрывается за расхожим термином "духовное". Рискнем ответить – надежное и общеобязательное. Но отчего же надежное и общеобязательное стало целью.

Быстрая и блестящая эволюция изобразительного искусства (подающая во многом пример другим искусствам) в конце XIX века до наших дней не может скрыть как от его творцов, так и от стороннего наблюдателя того факта, что положение художника в настоящее время поколеблено, и что сама профессия художника глубоко скомпрометирована. Появление и развитие новаторских течений в живописи и пластике изменило облик мира, в котором мы живем. Изобразительное искусство постоянно формирует наш визуальный опыт и заставляет нас видеть вещи такими, какими они изображаются на картинах, рекламе и т. д. И все же, не продолжаем ли и мы, люди 70-х годов, XX века, говорить слово

avant garde, имея в виду весь новаторский художественный опыт века. Почти век тому назад – и все же авангард. И не надо обольщаться: авангард повсюду авангард. На Западе, как и на Востоке. То, что делает авангард [1], ом, т. е. постоянно воюющем на переднем крае началом, может быть выражено в двух претензиях, которым он открыт – претензии непонятности и претензии в отсутствии единого критерия мастерства. Эти претензии порождают двойную неустойчивость и незащищенность современного художника – как человека и как профессионала.

Изобразительное искусство перестало изображать. Если раньше художник и зритель заключали дружеский союз и завязывали диалог на почве единообразно понимаемой предметности, то ныне язык для такого диалога и возможности для такого союза скорее отсутствуют. Единство концептуально оформленного предмета давало некогда простор индивидуальным интерпретациям. Устойчивость и определенность пространственно-временных отношений между вещами чувственного мира и общая осведомленность об этих отношениях художника и зрителя создавали основу для их бесконечного варьирования, соответствовавшего бесконечному разнообразию индивидуальных характеров и установок. Каждая индивидуальная вариация, каждое индивидуальное высказывание в пределах живописной речи, понимались достаточно отчетливо по правилам предметного языка. Живописное полотно было всегда о чем-то, т. е. указывало на содержание за пределами самого себя, на свой умопостигаемый денотат и, следовательно, могло стать и становилось к этому вове-себя, содержанию в специфическое изобразительное отношение, выражающее позицию художника и делающее содержательность полотна, (а не только содержание)

1. [Пробел в машинописи.]

доступной пониманию.

Единству предметного языка живописи соответствовали некогда и единые критерии живописного мастерства. Способность художника к подражанию, к [1], у, точность и гармоничность передачи предмета свидетельствовали о серьезности и зрелости его отношения к своей задаче. Доверие, вызываемое подкупающей точностью и ясностью изображения, уничтожало преграду между зрителем и картиной. С другой стороны, слабое мастерство художника отвращало зрителя от работы и, не давало ему, вследствие понятного раздражения, сосредоточиться на ней, выполняло роль гигиеническую, т. е. спасало зрителя от недостойных его души впечатлений.

С некоторых пор, однако, в положении вещей произошла резкая перемена. Художники устали от описательства и позерства. Частные обстоятельства характера и обстановки потеряли в их глазах цену. Упорное стремление к верной передаче реальности привело некоторых из них к потребности констатировать истину реального в целом, не ограничиваясь рамками собственной индивидуальности и конкретного сюжета. Естественно, что такая задача не могла быть решена в терминах ранее принятого предметного языка, так как именно об этом языке, как о целом, и предстояло высказаться. Иные средства живописной речи стали необходимы. Где же искать их. Ничто в жизни Европы ни тогда, ни сейчас не давало и не дает ответа на этот вопрос. Многочисленные экскурсии теоретиков авангарда в теорию относительности, кибернетику и тому подобное, не могут, несомненно, вызвать ничего, кроме улыбки, и улыбки презрительной. Отношения между вещами оставались в основном неизменными за последние несколько

1. [Пробел в машинописи.]

веков. Ничего подобного краху античности или возрождению не произошло. У нас нет нового языка для вещей мира, с которого можно было бы оглянуться на язык старый. Нет ни нового неба, ни новой земли. Символистические вздохи внутри вещной темницы мира – эта последняя инкарнация предметной живописи – давно замерли, и никакое "ретро" их не исторгнет вновь. Чуда не случилось, праздник Преображения отсрочен.

Но чу. – Преображение уже свершилось. Сама живопись есть чудесное преобразование. Само изобразительное искусство изображая – изображает. Новым языком, языком Преображения, стал язык самого искусства. Одним прыжком через ничто художник из копииста превратился в демиурга. Мы встречаем здесь событие столь же однократное сколь и предвечное. Живопись в такой же мере завершила преобразование, в какой была им изначально. Это извечно однократное событие преобразования есть фундаментальное событие, делающее событийным, историчным, каждый предшествующий и последующий ему феномен изобретательного искусства. Из сферы денотации, из сферы изображения, выражения, отражения и т. д., произведение искусства перемещается в историческое, превращаясь из пространственно данного объекта – в событие, в жест. Будучи замкнутым в ограниченное пространство и как бы со всех сторон обозримым, [1] тем не менее в подлинном своем бытии разомкнут в прошлое и будущее. Живописное полотно, статуя и т. д. ныне существуют и представляют зрителю не в пространстве, но во времени. Обратимся, однако, для начала к возможностям понимания иного, вне времени и истории.

1. [Пробел в машинописи.]

Искусство, обратившееся к собственному языку как языку преобразования, с высокомерием отвергло то, что некогда служило основой для понимания его публикой: единство и законосообразность вещного мира. Искусство стало публике не понятно, т. е. зритель оказался не в состоянии поместить произведение искусства, им созерцаемое, в единый смысловой контекст. Ответом на это непонимание чаще всего служил призыв "учиться понимать искусство". Призыв этот имел и имеет основу как в общем умонастроении, публики, так и художников. Полагая, по-прежнему, целью искусства изобразительность, публика, следующая призыву "учиться понимать", устремляется за неким мифом, неким словарем живописных приемов, долженствующим сделать ясным некое содержание, которое художник, пользуясь тем же словарем, [1] художественно, зашифровал и превратил в этот вот, с ужасом наблюдаемый зрителем сумбур цвета и форм. Акт понимания, скажем, живописного полотна выглядит здесь как обратный перевод на язык "нормальный", и зрителю и художнику уже понятный, – с языка "ненормального", специфически живописного, известного только художнику, а от зрителя требующего изрядных умственных усилий для его усвоения.

По отношению к такой интерпретации способности понимать современное искусство складывается [2] двойное отношение доверия и озлобления. Доверие вызывается почти автоматической для современного человека ассоциацией эзотерического языка художественного авангарда с эзотерическим языком авангардной науки. Язык науки говорит о тех же вещах, что и язык повседневности, но позволяет сказать о них нечто такое, выражение чего языку повседневности недоступно.

1. [Пробел в машинописи.]

2. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 20**]

- 20 -

Достаточно только осознать при виде математических формул, что речь идет о чем-то уже знакомом, уже данном в житейском опыте, чтобы не только наступило понимание, но чтобы познающий обогатился чем-то новым и, возможно, даже полезным. Нечего и говорить, что зрителя художественных выставок в этом отношении ждет глубочайшее разочарование. Несмотря на все его усилия и все заверения "понимающей" элиты, что вот-вот, еще немного – и ему все станет ясно, – горизонт зрителя, чем далее, тем более завораживается туманом. Откровение расшифрованности не наступает, и он начинает задавать себе вопрос, а не лучше ли обратиться к искусству прошлых эпох, которое ведь и по сию пору всеми почитается как первоклассное, и махнуть рукой на непосильный труд. И вместе с этой мыслью выходит на свет долго сдерживавшееся раздражение. Почему наука едина и ученые легко понимают друг друга, а художник и критик все время между собой грызутся. Почему в науке есть критерии того, что научно, а что нет, – а где эти критерии в искусстве. Как отличить художника от шарлатана. Не происходит ли вся эта путаница на холстах и в пластике от неясности в головах самих художников и от их профессиональной неумелости. Обратный перевод невозможен, потому что прямой перевод плохо сделан – вот зрительский итог их выполнения программы "по овладению языком искусства".

Подведение этого итога небезразлично и для художников, которые выступают ведь не только как творцы, но и как зрители. Зрители своих картин и чужих. Подобно презираемому зрителю с улицы, художники стремятся утвердить художественное творчество не только субъективно, как душевную потребность, но и объективно – как ценность. И само собой очевидно, как мало в этом

[**PAGE 21**]

- 21 -

могут помочь экзальтация и пафос непонятности. Художник сведен ими к манере. Он узнаваем, но не понимаем. Мы также узнаем легко без подписи работы талантливых Н. и Н. Н., как узнаем их при встрече на улице без предъявления паспорта. Мы раскланиваемся с ними, перекидываемся несколькими фразами о погоде, о знакомых и идем дальше. А потом говорим другим общим знакомым: "А он мило выглядит". "А он изменился", "А он что-то не в форме". И так же, увидев на выставке знакомую манеру, мы говорим: "На этот раз мило получилось", "Что-то в нем изменилось", "Довольно неудачно для Н. и Н. Н." – и осмотр закончен. Не искусство видеть, но искусство запоминать. Запоминать, как выглядит Н. и Н. Н. и как выглядят их работы. Грустное искусство. Зритель, незаметно для себя, становится Штирлицем во вражеском стане живописных приемов. Лишенные значения и оправдания, они все время множатся, предрекая ему все новые опасности и ставя перед новыми испытаниями его выдержку и благожелательность. А по другую сторону фронта мучится [1], изобретая все новые и новые трюки для привлечения внимания уставшего неприятеля. Никто, как сам художник, не видит яснее безосновательность своего существования как переводчика реального на никому /в том числе и ему самому/ непонятный язык. Никто как художник не познает так отчетливо жестокость своей заброшенности в определенную манеру, свое единственное достояние. Никто, как художник, не знает с очевидностью, каков его путь.

И тут-то пророки духовности и берут слово. Оказывается, новое искусство говорит нам совсем не о том, о чем говорило старое. Старое искусство изображало материальное, земное, –

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 22**]

- 22 -

а новое искусство изображает духовное, небесное. Не надо искать на полотнах, изготовленных нашими современниками, зашифрованных соотношений между вещами мира, а также ничего психологического, но пластическое воплощение духовности. Духовность же есть нечто иное, чем мир, и требует естественно, иного языка. Слово, которое говорит художник, поистине ново. Зритель не понимает его не потому, что он непонятлив, т. е. не потому, что не владеет языком, но потому, что не владеет содержанием. Зритель духовно не возвышен. Отчасти этим же страдает и сам художник. Задача состоит в том, чтобы, преодолев мирские соблазны – соблазн живописности и интеллигентности, – художник вышел к духовности. А уже дошедший до нее своим путем зритель его поймет. Постигание духовности средствами живописи, т. е. искусства изобразительного, не может по-видимому состоять ни в чем ином, как в нахождении соответствий между реальностями, т. е. теми единицами, на которые разложим духовный опыт, и элементами живописи – формой и цветом. И вот мы присутствуем при величественных раскопках всех возможных обломков всех метафизических систем прошлого и их водружении на всеобщее обозрение, этот психологический порыв не случаен и не может быть объяснен лишь пассажиной настроенностью его носителей. Как уже говорилось ранее, ничего нового в мире не произошло, и никакого нового откровения – откровения чувствам, а не мысли /и при том общего художнику и зрителю/, – не явлено. Поэтому, для того, чтобы соответствия между "духовным" и видимым на полотне были узнаны и понятны, они должны быть всеобщими и устойчивыми, в некотором смысле, наличествующими везде и всегда, а ныне лишь открытыми художниками. Своеобразие манер должно быть отвергнуто и место эстетствующей

[**PAGE 23**]

- 23 -

оригинальности надлежит занять строгой дисциплине. Гениальные заклинания одиночек вроде Кандинского, Малевича и Мондриана, породили толпы однообразных подражаний, но оказались бездейственны и показались неосновательными. Зритель воспринял их творения только на профаническом уровне и глубинный их смысл остался для него скрыт. Из чего заключаем, что не держания одиночек, но опыт, основанный на традиции, может выявить те компоненты, из которых слагается духовное в искусстве и которые должны быть очищены от жанрово-психологических примесей и даны такими, как они есть, чтобы творчество художника избавилось от проклятия обособленной своеобразности и приобрело всеобщий смысл и значение, его же и врата адовы не одолеют. Нам ясен неогностический характер приведенных выше ложных и тлетворных рассуждений. Снова нас призывают к разделению мира на элементы низшие, высшие и средние. Снова дух шарлатанской магии и унылого сектантства выдается за тайно-знание. Творческое начало душится сомнительными выкладками и компиляциями. Для невидимого знания нет видимого выражения. Понятия и категории метафизических систем не имеют общеобязательного эквивалента в виде комбинаций фигуративных элементов, любого оттенка. Элементы же иконописи и других изобразительных систем прошлого не могут выглядеть на полотнах наших современников иначе, нежели атрибутами воды. Иконопись являлась выражением не духовности, а религиозности, что предполагает исторически и явно зафиксированную связь между обличением вещей невидимых и их облекание в одежды земного /а не гностически понятого/ быта. Эта связь устанавливалась в форме канона и возвращением к ней может быть только

[**PAGE 24**]

- 24 -

вхождение в канон с принятием на себя полной ответственности за церковный мир во всем его объеме, а не обыгрывание канона и не спекуляция на нем с претензией на современное звучание.

В основе затей изображать невидимое и духовное лежит тот же произвол и та же экзальтированная субъективность художника, но только помноженные на высокомерие и сектантскую нетерпимость. Зритель, хорош он или дурен, просвещен духовно или нет, увы, не сопрягал в процессе своего духовного становления внутренние очевидности своего духовного опыта с комбинациями цвета и форм, а поэтому и не может их опознать на живописном полотне и неизбежно смотрит на них, как на навязывание извне. Его восприятие произведения "духовного" искусства делается профаническим неизбежно. И не в силу бездуховности, достойной презрения, а в следствие конвенциальности, случайности связи, устанавливаемой художником между видимым и мыслимым содержанием его работ. Попытка выдать это случайное и условное за всеобщее и безусловное есть не более чем выражение культур-империализма и воли к власти. "С нами Бог" – таков издавна лозунг завоевательных войн. Ответ на него прост: с тобой Бог? – ну, что же, Бог с тобой.

Итак, мы рассмотрели две возможные интерпретации смысла и значения современного искусства. Обе они, по существу, исходят из предположения о том, что искусство авангарда осталось искусством изобразительным, описывающим некую вне него лежащую реальность. Первая интерпретация предполагает, что по сравнению со старым искусством, новое искусство изменило язык изображения, оставив изображенную реальность той же.

[**PAGE 25**]

- 25 -

Вторая же – видит новизну в перемене реальности, подлежащей изображению, скорее чем в перемене языка – извечно тех же комбинаций цвета и форм. Первая интерпретация основана на культе эгоистической манерности, вторая – на воле к власти. И та и другая делают существование и творчество современного художника безосновательными. И все же, несмотря на предполагаемую безосновательность, несомненно, что искусство авангарда имеет успех и что имеется зрительская элита, которая его понимает. То, что она действительно понимает его, заслуживает полного доверия, ибо нет никаких оснований для нее обращаться к любому искусству иначе, как из потребности в нем. Понимание подобного рода не есть и иллюзия моды, ибо к элите принадлежат люди, которые создают моду, а не следуют ей. Каким же знанием обладают те, кто к элите принадлежит? Отнюдь не тайнознанием эзотерического языка и не проникновением в надзвездные сферы духовного. Элита понимающих искусство скорее напоминает ту часть зрительного зала, следящего за развитием сюжета 12-й серии многосерийного фильма, которая видела первые одиннадцать серий. Хотя новички способны замереть от ужаса при виде злодея, целящегося в жертву, или расчувствоваться от слез героини, – общий смысл происходящего останется им непонятен и общий итог зрелища для них – разочарование и раздражение, несмотря на кое-какие эмоциональные встряски. Умудренный первыми 11-ю сериями зритель холоднее, трезвее, но понимает обстановку тонко, конец предчувствует заранее, и остается доволен, как исполнением обещанного, так и неожиданностью, которую только он и может понять, поскольку только для него присутствует знакомое. Происходит же так оттого, что следующая серия фильма обнаруживает то, что

[**PAGE 26**]

- 26 -

как загадка скрывалось в предыдущей.

Искусство, которое поняло себя не как изображение, а как преобразование и сказало нечто о мире в целом, как о своем собственном языке, более не может говорить ни о чем, кроме как о самом себе и тем самым становится историческим и понимаемым во времени. И бесплодно и бесполезно пытаться вернуть его в прежнее состояние, ибо оно уже не видит и в прежнем своем облике ничего, кроме собственного языка, но отошедшего в прошлое и лишь постольку достойного рассмотрения в будущем. Мир вещественных вне самого искусства данных отношений, просто рухнул и обратился в ничто, как только искусство осознало себя как целостный язык и сделало себя, как язык, предметом внимания. Поэтому обратиться к манере, называемой реалистической, означает просто вернуться к одной манере из многих, не имеющей никакого оправдания большего, нежели у любой другой манеры, т. е. в изобразительном отношении столь же безосновательной. Роль прошлого искусства здесь та же, что и роль Ветхого завета в контексте Нового завета. Ветхий завет понимается, с появлением Нового, лишь как ведущий к Новому, т. е. как этап, а не как закон. Но он не может быть отменен, ибо тогда Новый завет лишился бы предмета повествования. В этом суть бывшего спора с гностиками. В этом суть спора о неогностицизме.

То, что говорит искусство значит лишь постольку, поскольку оно говорит о самом себе, как о существенном измерении человеческого бытия в мире и одной из фундаментальных возможностей человеческого существования. В этом определении скрыта необходимость постоянного обновления искусства. Необходимость,

[**PAGE 27**]

- 27 -

вытекающая из того, что искусство, будучи языком, хочет говорить о себе. Следовательно, оно должно говорить вне своего языка. Обращенность искусства на себя не есть поэтому возрождение лозунга [1], – искусство ради искусства, но, напротив, требование от искусства выхождения за свои пределы. Соотнесение языка и его содержания происходит в молчании. Задача искусства в том, чтобы молчание нарушить. Искусство имеет целью сказать о себе, это означает, что оно должно оглянуться на себя и, умертвив себя оглядкой, возродиться в новом языке. Новый язык, на котором искусство говорит о себе, парадоксален, т. к. говорит о том, что, благодаря его появлению, уже ушло в прошлое. Вследствие своей парадоксальности он непонятен. Однако, вследствие общности художнику и зрителю того прошлого, о котором он говорит, он понимаем; он понимается и, будучи понят, теряет свою власть говорить и сам становится предметом суждения.

Всякое художественное направления и всякая законченная художественная манера обладают выраженным языком художественных приемов, противопоставляющим то, что может и должно быть показано, тому, что остается за рамой. Этим художественное направление утверждает свою конечность, неполноту своего знания о самом себе. Однако, будучи по природе своей тотальным языком, и познавая себя таковым, художественный метод утверждает также свой демонизм, ибо демонизм есть, по существу своему, сочетание неограниченной власти с ограниченностью, неполнотой знания. Художественный метод есть то, благодаря чему нечто возникает и нечто аннигилирует бесследно. Полагая себя как систему запретов и разрешений, он утверждает себя как господствующую

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 28**]

- 28 -

над миром демоническую волю. И здесь безразлично, демонизм ли это одиночки, [1] сомнительных откровений или посредственности, утверждаемой как нечто общепонятное и исчерпывающее. И апеллируют ли здесь к тайникам духовности, или к якобы всем известной реальности того, чего давно уже нет. И не в погоне за новизной совершается обновление. Поскольку тот, кто ищет нового, ищет его в отличие от старого, т. е. от все того же набора сложившихся приемов. Преемственность, а не эпигонство – удел ищущих того, что всегда подразумевается и имеется в виду, и о чем всем известно настолько, что о нем не говорят. О настолько лежащем на поверхности, что никогда не бывает сказано – т. е. того, что есть сам язык, и не то разнообразное и частное, что на нем говорится.

Таков Сезанн. И таков Филонов. Их много уже было в истории искусств.

Здесь язык раскрывается как "то, что есть на самом деле", в отличие от того, что об "имеющемся на самом деле" говорится.

То, что всегда подразумевается в искусстве, но никогда не говорится, есть отношение выявленного и выраженного к тому, что "есть на самом деле". Эти отношения становятся предметом обсуждения в метаискусстве – в критических статьях, но оно может быть в них только прокомментировано, но не раскрыто. Это отношение между выраженным и "имеющимся на самом деле" понимается обычно как отношение изобразительности, как некий экран, стоящий между зрителем и реальностью, изображаемой на этом экране, но тем самым и скрытой

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 29**]

- 29 -

им. Если избежать метафизических соблазнов, становится явно, однако, что "имеющееся на самом деле" является не более и не менее как языком искусства самим по себе, взятым как целое, как разрешение и как запрет. "Имеющееся на самом деле" не за экраном, а в прошлом – луч прожектора за спиной художника и зрителя. Подлинный порыв художника есть прорыв экрана, поворот к своему прошлому, лицом к свету, уничтожение отношения изобразительности посредством истинного усмотрения "имеющегося на самом деле". Этот прорыв, как уже говорилось, событиен и историчен, поскольку вследствие совершенного прорыва само "имеющееся на самом деле" трансформируется, вновь отходя в прошлое, – и, тем самым – за экран, в будущее, образуя новое изобразительное отношение. Будучи постижением "имеющегося на самом деле" как собственного языка искусства, историчная акция художника может состоять либо в выявлении устойчивых элементов, составляющих основу художественного языка /Сезанн, Филонов/, либо в обнаружении пределов возможного в нем художественного опыта /Дюшан, Малевич, Клее/. Подробный анализ самого акта установления нового изобразительного отношения выходит за рамки данной статьи.

Каждый выход за пределы языка искусства порождает историю, и как будущее, так и прошлое. Как будущее, поскольку он создает новое изобразительное отношение, следовательно, новый язык искусства. Как прошлое, поскольку он утверждает своим видением "имеющееся на самом деле" как выраженное так, а не иначе. Следовательно, этот выход к "имеющемуся на самом деле" не может быть оценен или подвергнут критике,

[**PAGE 30**]

- 30 -

но может быть лишь исторически принят или отвергнут. В этом утверждении содержится, по существу, ответ на следующий возможный вопрос: "существует ли вневременное, абсолютное значение произведения искусства? Такое значение произведение искусства приобретает, если осуществляет выход к имеющемуся на самом деле и входит составной частью в общую историческую память всех, кто к искусству обращается. Будучи такой составной частью, памяти, оно не подвержено критике и стоит выше всех возможных оценок, поскольку служит источником и критики и оценок, впервые обнаруживая тот язык, на котором эти оценки вообще становятся возможными. Совокупность упомянутых художественных произведений образует сферу отчетливого видения, тривиальных ссылок, и ясной сообщаемости – т. е. подлинную сферу Духа. Мы говорим: как у Вермеера, не "как у Вермеера, в одном ряду с Вермеером". Нам ясно, что говорится, без объяснений. Более того, подобные замечания и составляют, в конечном счете, основу для всяких объяснений.

Эта сфера ясности отделена границей исторической памяти от сферы темноты и забвения, откуда слышится иногда зубовой скрежет неизвестных художников. Граница памяти, граница между ясностью и темнотой есть в подлинном смысле [1] место для обманчивой повседневности салонов и ковбойских авантюр. Это области, посещенные некогда Улиссом, где водятся чудовища, слепленные из памяти и забвения: бестелесные сирены, безмозглые циклопы, и пернатые гады. Это области, в которых протекает культурная жизнь.

Остается спросить одно: как же подняться над мраком к ясности? Не эксцентричной оригинальностью, и уж, конечно, не вливанием нового вина в старые мехи. Путеводной нитью здесь

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 31**]

- 31 -

может служить лишь очевидность подлинного постижения, даваемого художнику. Хотя, быть может, со стороны эти нити часто кажутся лишь приводящими в действие марионеток. Многие слышат зов духа. Их кривляние, однако, едва ли трагично. Мы смотрим на него без злорадства, но и без сожаления. Ибо много званых, да мало избранных. А для памяти Духа /той "вечной памяти", о которой просят на похоронах/ выбор человека мало значит, но избранность определяет все.

[**PAGE 32**]

- 32 -

Виктор КРИВУЛИН

О ДУХОВНОМ ВЗГЛЯДЕ НА ДУХОВНОЕ

/Заметки по поводу статьи "Взгляд зрителя на духовное в искусстве"./

Уже в названии статьи И. Суицидова есть существенное противоречие: есть не то, чтобы диалектическое или парадоксалистское столкновение понятий, а своего рода абберрация – или, если угодно, недозволенное смешение уровней; – именно смешение: потому что, с одной стороны, перед нами зритель в его функции иметь взгляд, то есть зритель, *бросающий* взгляд – на что, позволено ли будет спросить? – на то, что зрению не подвержено по тонкости и прозрачности и что менее всего узнается зрением, или, если и узнается, то зрением с его способностью иметь взгляд – в последнюю очередь узнается.

Речь идет о возможности у-смотреть, пусть разумом, но – усмотреть, пусть метафорически – но бросить взгляд и обозреть: насколько правомерна, имея в виду современную живопись, претензия художников на духовное свидетельство.

Перед нами разворачиваются две предпосылки, одинаково губительные для процесса художественного творчества: во-первых – предположение, "что по сравнению со старым искусством, новое искусство изменило язык изображения, оставив изображаемую реальность той же." И другая точка

[**PAGE 33**]

- 33 -

2

зрения, согласно которой новизна – "в перемене реальности, подлежащей изображению, скорее, чем в перемене языка – извечно тех же комбинаций цвета и форм". Оба пути ведут в ад: а между собою соотносятся как план выражения /изменения языка/ и план содержания /перемене реальности/ единого сообщения.

И перед нами два мира, – аксиологически полярные друг другу: мир подлинного непрерывного бытия, мир основательного торжества Духа, "сфера отчетливого виденья, тривиальных ссылок и ясной обобщаемости" – своего рода профессиональный духовно-эстетический Эдем, где немногие праведники /допустим, Вермеер, Сезанн или Филонов/ обитают "не будучи подвержены критике", стоя "выше всех возможных оценок", поскольку сами они "являются источником и критики и оценок, впервые обнаруживая тот язык, на котором эти оценки вообще становятся возможными... "Это, повторяю, сфера *ясности*, где обращается конвертированная духовная валюта, оплачиваемая во всех банках мира, включая – хотя бы в своей западноевропейской части – и Госбанк. Это мир четких критериев, это область общедоступного, более того – общеобязательного для всех, кто почему-либо вынужден обращаться к искусству.

Но есть и другая область, которую от рая отделяет "граница исторической памяти" – есть область темноты и забвения, "откуда слышится иногда зубовой скрежет неизвестных художников..."

[**PAGE 34**]

- 34 -

3

Вернемся к названию статьи И. Суицидова: "Взгляд зрителя и т. д." Подобно Улиссу, зритель имеет возможность бросить взгляд в печальное подземелье Тартара, бросить взгляд и содрогнуться. Бросить взгляд, содрогнуться – и с облегчением возвести горе глаза – к сиянию ясного и несомненного.

Меня поразила "скрежет зубный" не меньше, чем сравнение зрителя с Улиссом. Для Улисса тени подземельного царства, вызванные Киркой, были не просто объектом боязливого созерцания – они были реальны в том смысле, что Улисс видел в них свою судьбу, свое будущее – в веренице теней тех, кто сопровождал его в земной жизни и кто, сделавшись тенью, лишь ненадолго опередил оцепеневшего от ужаса героя.

Одиссей причастен к миру мертвых – и своим прошлым, и своим будущим. Это чувство причастности и делает его живым, а жизнь его – постоянной, дрожащей границей между бытием и небытием.

Мы желаем твердого и несомненного – мы скорбим об утрате ценностей и критериев, мы страдаем от засилья бессодержательности и недостатка одаренности, духовный наш хлеб не отличается ни вкусом, ни питательностью. Это так. Но у нас есть мета-искусство: у нас есть довольно удобное положение в пространстве – некоем постоянном наземном чистилище, где мы, хотя еще и не причастны верху, но областей адских, областей, "со скрежетом зубным" не касаемся вовсе, и они нас не касаются, ибо мы отделены от них пуленепробиваемым стеклом метаискусства.

[**PAGE 35**]

- 35 -

4

Что же такое метаискусство? "После /сверх/ искусство" – как явствует из дословного перевода? Искусство, превысившее собственные пределы? Вырвавшееся как зерно, за оболочку самого себя? Нет. Оказывается, это только способность "бросать-взгляд", или иначе: высказывать суждения, соблюдая необходимую дистанцию, дабы не оказаться спаленным пламенем забвения.

Каждое отдельно взятое положение статьи И. Суицидова, может быть, и бесспорно и глубоко. О демонизме в искусстве – абсолютно верно. О безосновательности бытия художника – да кто это будет оспаривать: действительно, бытие художника безосновательно. Весьма точно и наблюдение относительно "гностицизма" в современной живописи. Есть еще многое, что можно заметить, только имея честный и беспристрастный сторонний взгляд.

Но есть: "зубовный скрежет неизвестных художников", "кривляние шарлатанов" и т. д. – есть изгнание торгующих из храма, правомерное лишь в том случае, если ты часть храмового тела, если ты, как Иисус, равняешь сосуд духа своего с храмом /В три дня разрушу Храм и создам заново/. И есть: легенда о схождении Богородицы во ад, есть оригеново учение – пусть считавшееся еретическим – о "всеобщем восстановлении, о том, что все – все люди без исключения прощены будут и обретут новые тела – духовные.

Я говорю о радости, ни с чем не сравнимой, о радости, превышающей наслаждение чтением Пушкина и Шекспира – о

[**PAGE 36**]

- 36 -

5

радости изведения из "ада забвения" какого-нибудь, казалось бы, "третьесортного", "теневого" художника или поэта – воплощение какой-нибудь тени, зубами скрежетавшей, – и вот: пение ангельское, и вот – внезапное:

"... Но я живу. И на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать, душа моя
С его душой окажется в сношеньи –
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я."

Да, одной этой человеческой решимости, одной этой безнадежной – без расчета на имя и миф – готовность к твердому забвению достаточно для меня, чтобы обладающий "убогим даром" и "негромким голосом" Баратынский засиял ярче блистательного солнца русской поэзии, а какой-нибудь сумасшедший царскосел, вроде графа Василия Комаровского: сделался не менее необходим, чем "современник Овидия, великий Осип Мандельштам", с его нынешней общеевропейской, общемировой телегой.

Это не пафос второстепенного, как может показаться. Это необходимое условие герменевтического подхода к искусству. Путь понимания исключает путь дешифровки сообщения.

[**PAGE 37**]

- 37 -

6

Если говорить о духовном в искусстве, то позиция зрителя, при всей его осведомленности и действительной заинтересованности, страдает тем же пороком, что и позиция лингвиста по отношению к живому языку, носителем которого является сам лингвист.

Пока я помню, что я зритель, - я вне какой бы то ни было духовности – я только зритель, существо, отдельное от всего общекультурного, общеисторического, наконец, общедуховного дела; существо снабженное глазами, чтобы видеть, и ушами – чтобы слышать. Мне нужны *вещи*, очерченные в пространстве или во времени, обладающие тяжестью и достоверностью исторических, психологических, философских истин – вещи-цитаты, вещи, сделанные и равняющиеся в своей сделанности друг на друга. Будучи зрителем, я лингвист по отношению к созерцаемому, а произведение искусства, которое передо мной, есть прежде всего языковой объект, со своей парадигматикой и синтагматикой. Пока я лингвист по отношению к искусству, я вынужден рассматривать его, как язык /в оппозиции к речи/, на котором я не говорю; то есть когда я оперирую им, я не могу смотреть на него со стороны: я присутствую в нем и определен им; а когда я описываю его, то пользуюсь мета-языком. В таком случае, говоря об искусстве, я прибегаю к метаискусству: передо мной нуждающаяся в систематизации вереница объектов. Подобно лингвисту: я доверяюсь историческому отбору – и беру его за основу в своих суждениях. Я вижу ясность там, где она очевидна

[**PAGE 38**]

- 38 -

7

для многих: как нельзя не замечать историко-фонетических изменений. Для меня в таком случае произведение искусства – только продукт исторического развития /диахрония/ и личностной задачи художника или направления /синхрония/. Такой взгляд возможен: и большинство говорящих об искусстве довольствуются им. Это называется вкус. Люди, "обладающие вкусом", составляют элиту.

Но такой взгляд крайне противоречив. Глядя с позиций лингвиста и претендуя таким образом на объективность суждения, я попадаю в зависимость от субъективно-исторического фактора: передо мной некая сумма оценок, которая всегда кажется окончательной. Я даже могу выделить несколько взаимоисключающих шкал – и оперировать, сопоставляя их. Передо мной всегда завершенные актуализованные объекты. Живопись становится миром окончательным, мертвой обездушенной пустыней, очутившись в которой можно только сетовать на отсутствие подлинной очевидной духовности.

Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился...

Зритель – Исаяя пушкинского "Пророка".

Да, зритель, да, он "лингвист", когда его зрению предстает нечто неудобозримое. С героем пушкинского "Пророка" происходит метаморфоза – и метаморфоза мучительная. Отшельник становится причастником – и его духовная

[**PAGE 39**]

- 39 -

8

жажда удовлетворена, и пустыня уже не пустыня для него, а вертоград, где "прозябает дольняя лоза".

Исполненность духом – в том-то и дело – не качество, не то, что может быть измерено и очевидно. "Путеводной нитью здесь может служить лишь очевидность подлинного постижения, даваемого художнику". – Абсолютно верно. Однако где критерии этой очевидности?

И мы возвращаемся к началу статьи: критериев, твердых критериев у современной живописи нет, ибо нет и широкой, способной понимать публики. Но когда-либо эти критерии были? Когда? На этот вопрос я затрудняюсь ответить.

Мы говорим о Вермеере и забываем о Фромантене, который через 200 лет после смерти дельфтского живописца и основательного забвения его живописи смог обрести "второе зрение", смог понять вопреки вкусу и своему собственному профессиональному опыту чужой опыт.

Мы говорим и о И. С. Бахе и не удивляемся "второму", духовному слуху легковесного Мендельсона.

Почему же мы сами не напрягаемся стать *участниками*, а предпочитаем, чтобы *наших* глаз и *наших* ушей никто не изымал у нас – и в чужих, даже серафических, не нуждаемся? Этот вопрос обращен не столько к И. Суицидову – перед нами статья, полная "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет", и оспаривать что-либо в ней трудно. Это наилучший из возможных взглядов со стороны – и горестный, и умный, и заинтересованный. Но

[**PAGE 40**]

- 40 -

9

это взгляд со стороны – взгляд "очами телесными".

Духовное, животворящее искусство требует прежде всего напряженного, мучительно вглядывания и вслушивания. Мы как бы в церковь попадаем простыми прихожанами и пусть не мы служим службу – пусть на амвоне священник, а рядом дьякон, а поодаль псаломщик, а слева хор бесплатный и справа – платный, а перед нами иконы, и пусть письма некачественного, – но грош нам цена, если мы здесь только зрители, если между нами и алтарной нишей непреодолимая преграда *зрелища*.

Мы – либо участники службы, тяготеющие к общему незримому центру, каждый со своей ролью, со своей жизнью, либо – душеубийцы, пришедшие в кабак. Здесь нет "интеллигентной" середины. Так же, как икона, – либо миг встречи с чудом, либо просто крашенная доска – и это может быть одна и та же икона, лишь от нас зависит, как мы ее смотрим, – так же и духовность в живописи является либо следствием обоюдного духовного напряжения художника и зрителя, когда зритель становится вдруг больше художник, чем Леонардо или Сезанн, либо духовность – своего рода значок-оператор в заданном отрезке текста, только категория, применимая к языковой системе, когда мы полагаем грань между планом выражения и планом содержания, а сами – со всем своим речевым опытом – устранимся в некую потустороннюю область, откуда возможно бросить точный и умный взгляд – в ясную область окончательной избранности и жесткой аксиологии.

Ленинград
Февраль 1976 г.

[**PAGE 41**]

- 41 -

Олег Охапкин

Семь стихотворений из сб. "Моление о чаше"
/1970/

. . .

По возвращении к деревьям
Воскрес покойник Пастернак.
Разъехаться бы по деревням,
И мы воскресли б. Но не так,
Поди, как это в наших силах –
Спасли б не душу, но лицо.
Ведь если яблони в сибиллах,
Не бабочки ль тряхнут пылью
В сияньи чуда городского
У телевизоров, увы?..
Мир погребет в себе мирского,
И воскресит в цветах травы
Лишь травоядного Толстого,
Да Тютчева в очках совы.

[**PAGE 42**]

- 42 -

. . .

С утра зарядило. Прорвался снег.
Его мы не ждали. Весна весь март.
Уж вербы привычными стали нам.
Вдоль насыпи дружно они пошли.
Неделю бредут по пояс в воде.
Преград не встречали еще нигде.

Я землю видел еще вчера.
Она волосата была, как плоть
Старухи седой, но пришла пора
И саван сшил для нее Господь.
И хотя ужасна мечта моя,
Все было б легче, когда б я мог
Вернуться к истоку, землю стать,
Но, видно, час мой еще далек.

Я слышу: ветер поет, поет...
Высоким плачем весну почтим!
Она пришла, ведь ее черед,
Лишь наш порядок необратим.
И когда бы время могло бы вспять
Пойти, не думаю, что для нас
Это открыло бы дверь туда,
Где мы не знали еще стыда.

С утра печально. Все снег, да снег...
И вертикально, и вкось, как бег
С наклоном в даль, в снеговую даль –
Туда, где грусти горизонталь.

[**PAGE 43**]

- 43 -

К душе своей

Каково тебе, душа, за гордость расплату
Чистоганом получать приправой к салату
Тайной вечера твоей, горечь окаянну,
Пиру брань предпочитать подобно Грояну?
Каково в спор вступать аж противу века?
Уж не гибелен ли опор тот для человека?
Вот, повержено в постель в Сосновой Поляне
Тело твое, моя душа, брошено, как в яме.
Распласталось по одру, читай, по дивану,
И никто не навестит... Как же перестану
Плакать, дура, по тебе? Сгноишь ведь в чахотке
И себя, и меня... Долго ль до Чукотки
Остается стране? Куда торопиться?
А уж если спешишь, не лучше ль топиться
Не в воде, так в вине, коль петь тревожно?
Право, пить веселей, когда пить возможно.
Каково тебе со мной пить в одиночку?
Что ж никто из друзей денег на бочку
Не положить-не придет?.. Эх, печаль-скука!
Круговая тщета, нищая порука!
Много ль жаловаться мне, душа моя? Вот я
Лежу в гриппе на сей раз, выхаркан в лохмотья
Горла певчего в платок, сердце песня ломит...
Если к Богу отлетишь, кто мя похоронит?
Повремени, о, душа! Заведу собаку...

[**PAGE 44**]

- 44 -

А то и бабу заведу... Люблю тварь всяку.
А еще, и эта мысль страшнее могилы.
Мать-старуха жива... хватит ли ей силы
Схоронить меня, когда, душа, к Богу в руки
Попадешь, не дотерпев распятия муки...
Гордость твоя, христианин, дух мой полунисий,
Не гордыня – горечь всех, живых твоей пищей.
А посему, будь честна, душа моя, пой же
И на кресте, пусть одна, зато боли больше.

[**PAGE 45**]

- 45 -

- - -

О нет, я не скажу магического слова.
Я не начну его однажды снова
И не обмолвлюсь даже перед милой,
Когда придет заплачет над могилой
В ночи моей родимой – белой летом.
Я не заговорю гортанным гоним светом,
Когда земля найдет мои глазницы,
Я просто опущу ресницы,
Я промолчу.

О господи, молчанье

Достойно лишь одно сказать так ясно
Все, что велел Ты мне, что не сказалось,
Тем самым стало мной и правдалось.
Я не скажу лишь главного, мой Бог,
Поскольку не язык, а сам я плох
В моих глазах, на коих слезы-клейма.
Так гиблый "Holländex" при освещеньи Эльма.
И неудача в них для всех видна
За то, что сам я не увижу дна.

Но, нет, не проклят я! Мой стих – молчанья схи́ма.
Он – ясновиденье мирского серафима.
Я оттого стране моей чужой,
Что поле зрения поэта за межой
Доступного иному патриоту.
Но не дозволяй мне, как дозволил Лоту,
Отец Предвечный, Господи, бежать
Содома и Гоморры
И обрати мне взоры,

[**PAGE 46**]

- 46 -

Как женщине, на все Твои дела,
И соляным столпом содей меня за это!
Я промолчу навек. Да будет вето
На мне и на делах моих хула
За то, что Родина погибнуть родила!

[**PAGE 47**]

- 47 -

На смерть патриарха

Сила Господняя с нами.

Снами изучен я, снами.

И. А.

На грани эпох постигнет смерть

Избранников Рока.

Еще мы в прошлом, но дней круговерть

Вдруг завихряется розой в смерч

И странно-точно разит, как меч,

Праведно иль жестоко.

Времени нож отсекает пласт

Безвременья века.

И вот человека не держит наст,

Сугроб синюшен, хотя глыбаст,

Скворец летит – воробью задаст,

Цветет лесовека.

Христова Пасха... Христос Воскрес!

Воистину с нами.

Тленный мрака покров разлез

И свет грядущий сквозит в разрез

Семидесятого года чрез

Мучение снами.

Вижу несбыточные лишь сны.

Что за причуда!

Нет, не бывало такой весны!

В Сосновой Поляне лишь две сосны,

И те засыхают, настоль пресны

Шансы русского чуда.

[**PAGE 48**]

- 48 -

Нет, не случайно в сей час почил
 Старец Владыка.
Ветвь времени, их Господь различил
Грозным влияньем ночных светил:
Там, где двуглавый орел когтил,
 Нарывала гвоздика.

Странной печатью упал пентакль
 На православье.
Нет, не случайно в Москве миракль
Пал на Страстную... На сей спектакль
Победоносцев глядит в монокль
 Из предисловья.

Если Россия – водораздел:
 Время и Лета,
Певец воронежский правду пел,
И потому лишь допеть успел,
Пока хребта крылом не задел,
 Что гора сия мраком одета.

Красный Восток стал совсем лилов.
 Черное солнце
Светом червленными кресты куполом
Окровавляет... Сколько голов
Катит наш век, а всего-то делов –
 Прорубаем оконце,

[**PAGE 49**]

- 49 -

Щель, не в Европу на этот раз
И не в Царьград, чай, -
В небо – спастись – захламленный лаз
Чаем расчистить, и, пробил час,
Стадо спасет лишь смиренный Спас
Яростью Отчей.

[**PAGE 50**]

- 50 -

. . .

Песня о побережье

Ночь размоет горизонты, небом оденет мир,
Опустит завесу тайны, тьмою размоет явь,
Приблизит земле просторы звездные, пустит вплавь
Костры побережья, искры вверх понесет, в эфир –
Туда, где метеоритов искры летают, где
Земля – голубая чаша, полная тишины.
Видна далеко, откуда души глядят на нас,
Ангелы где стремятся – каждый своим путем.

Ночь приблизит мне дорогу – Млечный великий Путь
Освещенный чем-то сверху так, что и тень моя.
Малая там в России, в ненастном сейчас краю.
Ложится крылом огромным на твердь дороги теней.
Потекут дорогой этой, трактором ночных коней,
Всадников невесомых, кентавров, и тень мою
Повезут молчанья силы, затем что во сне пою.

Но куда дорогой горней выйду? Кругом леса...
Ельник, чаща... где-то море моет песок, стучит
Чем-то гулким, гладкой галькой, раковинной звучит.
О, Земля! валторну слышу. Тявкает ночь, лиса.
Заливаются собаки. Люди галдят вблизи.
Под ногами камни, хворост... Берег!.. Vivat, Колумб

О, Атлантика! затишье... Вот он и Океан –
Бухта плаванью ночному. Слышен такой объем,
Что возможно мир представить мерным, вместить в пеан,
Раскачать его размером Времени, оком

[**PAGE 51**]

- 51 -

Ширить звучными стихами, с Господом быть вдвоем.

Так лежу и свет сновиху звездный, в душе гляжу.
Фрамугу туман завесил. Стекла стегают дождь.
И куда там из России! Разве что на метле!..
Пойду посмотрю на кухню, что там кипит в котле.

О, Атлантика ночная! Молча босой бреду.
Тень моя, хо-хо, босая, тень моя, хо-хо босая,
Тень моя, хо-хо, босая у янки на виду.

Взбредет ли кому из этих янки со мной шутить?
Взбредет ли кому такое – призрак на берегу
Повстречать, и ни словечка босому, о, ни гу-гу?
А ведь я не стал бы, право, и с сатаной финтить.

Рыбаки – народ надменный, молча смотреть привык.
Я из этого народа. Молчанье – моя страна.
Ельник тихий побережья... лапу ему пожать
Подойду... залив ли Финский, Вселенский ли Океан.
Разве Творцу противно земли душой сблизать?

Так сижу и помышляю. Язык мой сегодня прост.
Дождь окончен. Дело бога. Я же не старец Фрост
Радоваться работе, хотя бы и слыл таков.
Янки дрыхнут в самолете. Сколько их... облаков!

[**PAGE 52**]

- 52 -

О самоистечении всего сущего

Сегодня совесть мне велит возвысить речь.
Открылась течь,
И жизнь моя течет в прореху –
Из глотки вопль.
Сегодня прожит мной последний рубль.
Плыви корабль!
Я знаю, - ты затонешь на потеху
Летейских волн, воспоминаний полный,
Непрерывным Временем затоплен,
Что хлынуло в тебя в мгновенья молний,
В минуту гроз, когда Природа, встав
Над ужасом твоим, стихом ли, воплем
Испепелила тварный твой состав.

Почтим Творца!
В Его руке наш разум и стихии
Средь мыслью раздираемых пространств
Не то, что вовсе на ухо тугие,
Но просят есть. Их трое: два птенца
Единосущих, третий – наш подкидыш.
Он шупл и алчен. Второе, без жеманств
Он голоднее прочих. Сам обглодыш,
Он Хроносу и Хаосу претит –
Стихиям двум.
Его тройной бездумный аппетит
Мешает истеченью наших дум.

Уж вопль его мне слышен исступленный,
И я, чуть тепл, как уголь испепеленный

[**PAGE 53**]

- 53 -

Как угрь виясь,
На крик, как на крючок
Плыву сквозь грязь,
Которой мой зрачок
Естественно касается и зрит
Чья вокруг меня материя пестрит.

Я вижу лик
Уничтоженья, но не бытия.
Передо мною множество улик
Изверженного из желудка мира –
Остатки пира.
И это – Флора, Фауна? Не я
Клоаку эту начинал, не мне и
Судить Того, Кто в эти пропилеи
Меня загнал на зрелище. Ужель
Материя – сознанья колыбель?

Писаки врут. Не может быть, чтоб трупы –
Все, что кишит сознанием бацилл,
Образовали образ мой. Нет сил.
Что утвердить меня смогли бы в этом. Баста!
Я зряч без лупы.
Я вижу, что материя есть паста
Истертых душ. Их всех истерло Время
На жерновах. Мука едва ли – семя
В том смысле, что мучицу как ни сей,
Не прорастет пшеницею пырей.

Итак, плывем! Конечно же плывем.
Куда ж нам плыть? – пролепетало солнце

[**PAGE 54**]

- 54 -

Поэзии, и я похолодел.
Ах, всякий кто при музах не у дел,
Примерно так и скажет.
Переживем.
Переживем, когда нас не скукожит
Со временем, как профиль на червонце,
О коем ляпнет сдуру нумизмат, -
Он был велик!..
И это будет мат.
Да, детский, да, natürlich, но за миг
Блестящий этот не отдам подушки.
Возвысив речь, я жизнью заплачу,
Поскольку эта плата по плечу
Тому, кто воду пил, как все, из кружки,
Но не переоценивал мочу.

[**PAGE 55**]

55

Г. СОМОВ

Глава из романа.
/Продолжение/

6

Ничего человеческого около и быть не могло.

Гульливая морская волна заразительно подлизывала кривую песчаную отмель, путала по гальке празелень медленно тянувшихся водорослей, лукаво переблескивая отступала и вслед ей, радужным, как мыльные пузыри, открывалась там сям не часто позабытые раковины. С верхом была полна округа стеклянной густой тишины и не оком, белою пеною оправленный, не тяжелыми виноградниками поросшие склоны скал просматривались здесь, – но, сотрясаемый прибоем, воздух; его можно было из горсти в горсть цедить.

Кажется, босиком спешил Александр Сергеевич к убитой водой полоске песка, став плотно на теплое тело ее, сам не зная кому, туда, на землю рукой махнул и тотчас же оборотился спиной к берегу. Прямо в очи ему – под белыми ветрилами на синей лебяжьего изгиба волне – бриг качался. С пустынной палубы крепко тянуло кофе, печально и радостно вместе сияли круглые окошки кают, а на плечах венчавший нос корабля наяды, сидел, ноги у ней на груди

[**PAGE 56**]

скрестив, арапченок тощий, звал зазывно, прижигая каждое слово белозубой улыбкой: "- Скорей, бачка, к нам ступай! В путь пора!" – "Очень хорошо, – горячо согласился с ним Пушкин. – Я готов уж! Руку мне, дай руку!" – Но как не понимал мальчишка. Словно песню какую горланил: "- Покатаемся, бачка, покатаемся!" Тогда, чтоб поспеть за ним во что бы то ни стало, прямо в воду бросился Александр Сергеевич, да – смотрит – исчезла вода, один песок округ, пыль глаза забивает. Попробовал было бежать, только куда там: все так и сыплется из-под ног. В беспомощности полнейшей остановился и – необходимо было маленьким, незаметным стать – комком сунулся в колюче из-под лица шуршащий песок, попросил: "Мне надобно было сие! Непременно!" И от того, что не ответил никто, забился и закричал так, что сам перестал слышать себя, щемило лишь донельзя отверзтые губы...

Первое, что понял, просыпаясь – Ташин почему-то соленый пальчик на губах. Высоко куда-то мелькнул белый, как кипень парус. Женка над ним клонила лицо, улыбалась:

- Что я слышала!
- Погоди, душа моя, – уже усталыми глазами он повел по стенам, по потолку, шурясь, оглядел пол: - Ты... ты давно здесь?
- Нет, ну только вот вошла, – дышала часто Таша. – На крик твой! Так кричал – ужас!
- А что?
- Не поняла я, - округлила глаза она. – Путанное

[**PAGE 57**]

чего-то. Разобрала – бачка и бачка, а что значит – не ведаю.

- "Бачка" – такое слово, которое лишь за чаем объяснить можно, – тихо отозвался Александр Сергеевич. – Так что ты поди, женка, распорядись, покамест я в порядок себя приведу.

Однако за завтраком ничего он ей не рассказал, а еще и сам пристал, чего, мол, она во сне видит. Таиться Таше нечего было, и она не только свои сны Александру Сергеевичу передала, но и Азиных порядочную долю прихватила. С лицом, будто в кабинете над бумагами своими сидел, внимал ей Пушкин и правая рука его, небрежно на край стола брошенная, безмянным перстом, как пером, пользовалась – чертила что-то. Приметив это, замолчала Таша. Александр Сергеевич с лишком минут через пять на тишину внимание обратил, ласково помычал и объявил, что в Петербург-городок затеял съездить дни на два. Таша не обиделась, но изумленно насторожилась:

- Холера ведь, говорят, кругом!

- Ну, кому повешену быть, так тот не потонет, – мялся перед ней Пушкин. – А дела мои, меж тем, копятя да копятя. Право, мой друг, поеду. – И в лоб ее поцеловав, наказав за кухаркой следить, собираться пошел.

Томительно было Таше из окна во двор наблюдать: неладно все как-то клеилось у отъезжающих.

[**PAGE 58**]

Начали с того, что расковавшуюся лошадь в корень запрягли, покуда бегал кучер за кузнецом, Никитушка Козлов потерялся. Александр Сергеевич выругался матерно – нет ответа, людские помедления обежал – как сквозь землю провалился, подлец; выскочил во двор – все готово уж было, садись только да поезжай – нигде не видать! Ах, ты мать честная! Пустился в дворницкую. Ну так и есть: прикорнув за лавку бочком сладко отдувал Никитушка свои щечки, спал. Пушкин его за ворот приподнял, тряхнул основательно. "- Ахти мне! – чуть ли не прямо в лицо барину чихнул Козлов и вытаращив глаза изумился: - Александр Сергеевич, вот точно об этот момент вас поминал!" – Чтоб не улыбнуться, Александр Сергеевич его втолчки из дворницкой выкинул, мигнул в окошко Таше и – на ходу хотелось в коляску прыгнуть. – "Пошел!" – страшным голосом закричал.

На подножке Никитушка Козлов подсобил барину, насупротив себя усадил, а в ноги от пыли кожаный полог постлал, пожаловался:

- Что, значит, так я, Александра Сергеевич, расстроился, прямо сил никаких нету!

- У дворника, что ли, когда спал? – строго еще спросил Пушкин.

- Знамо, там! – дальше моргал Никитушка. – Взшел я будто в камору его треклятую и диву дался, ну так глазаньки и слипаются, а сердце вот ноет и ноет...

[**PAGE 59**]

59

5

- Добро, – кое-как усмехнувшись, оборвал Александр Сергеевич. – Сердце коли хочет, пусть его ноет, а ты помолчи-ка!

- Да-к как бы сызнова от волнений не уснуть-то, – потупился Никитушка.

- Вот – ладно! – отворотился от него Пушкин.

Нет, таки на колесах, верно, родился Александр Сергеевич.

Довольно было оторваться коляске от клубящегося столба пыли и в хвосте оставить вымеренное существование Царского – нутром почуял Пушкин: никого и ничего нет меж ним и ласковым миром божьим. Казалось, будто безболезненно и необходимо снимают с тела одубевшую старую кожу и свободное от границ естество, ничуть себя не теряя, вольно устремляется разделить жизнь густеющего по лощинам леса, никнет к отягченным жаром полям, беззаботно звучит в гуле неблизкого благовеста. Там, в квартире, с Ташею все слишком рядом было, здесь же – даже похрапывающий Никитушка, даже отдающий овчинами кучер – далеки.

"- Кабы еще не жарило так, – ногти покусывал Александр Сергеевич, – вовсе бы славно было. "Впрочем, тут он намеренно путал себя: не одна жара досаждала. Набухающей занозой сидел под сердцем давешний разговор с Россет, и в неумное куда-то звал, подсмеиваясь, утренний сон. "Вот чертова баба, – горячилось ему. – Толкнул же бес под ребро! Ну, прочел

[**PAGE 60**]

60

6

стишок – и ладно бы, так нет – замысел разболтал!" Это хуже всего было. По складу характера, из-за гнутых, а зачастую и гнусных даже обстоятельств жизни, многое приходилось Пушкину прощать себе; одного только, с юности еще, всеми силами старался не допускать он – заглазного выхваления ненаписанного. Тут самое сокровенное суеверно жило. Как наемной лошады, без пощады пользовалось оно Александром Сергеевичем, писало за него и стихи и прозу, нудило невероятно, постоянно в страхе держало и раздражении, – но суесловием оскорблять его нельзя было, ибо с ним вместе могло все кончиться: мертвою тишиной устлало бы душу, и никогда бы не повторилось более те силою, а не сладостью исполненные мгновения, когда не то, что весь мир, но и творца самого, будто бы свысока созерцал Пушкин. То что вчера еще недовольством лишь было, нынче в смертельную боязнь превращалось. "С дури-то пошло! – простить себе не мог Александр Сергеевич. – С предвзятости обыкновенной! Захотелось, видишь ли, Александре Осиповне поляков пожалеть – вот на все кроме и закрылись глаза! То что ж получается, если, положим, написал поэт о море, так любой кого морской болезнью выворачивало уж и критикуй его, что ли? И потом, поляки что за святость такая? Отчего это смуту худородных шляхтичей-горлопанов, смутой назвать нельзя? А кровь? – встряло воспоминание. – Да, вот о крови она давеча много толковала, – наморщился Пушкин. – Но кровь-то затем и жидка, чтоб течь! И разве после Годунова мало шляхта на Руси народу извела?

[**PAGE 61**]

61

7

Так что все нынешнее – лишь установление справедливости политической, не более!
Здесь я себе совершенно не лгу! Уверен в сем истово! Тем паче, что кровь прошедшего в настоящем – навоз, и только!" Но мелькнула ему с последними словами бледная Россет:
"- Там, Александр Сергеевич, полки дибичевы огнем и мечом мир сеют!"

"Сем-ка, я пройдуся, – перевел дух Пушкин, придержал чуть кучера и, не встревожив Никитушку даже, спрыгнул наземь: - "Ты поезжай, как хошь – сам догоню, – и подвертывая на ходу затекшие ноги медленно тронулся обочиной.

"Нравственное из поэзии должно выходить, а не поэзия из нравственного, – стараясь попадать за коляскою так, чтоб не свивало на лицо пыль, продолжал спорить Александр Сергеевич. – Что ж удобнее можно придумать, чем заочное обвинение замысла? Эдак я всегда кругом виноват буду! Хоть не пиши вовсе!"

Ему невыносимо жаль было того стройного, с печалью несколько настроения, каким и предполагал он писать, но вместе с тем, на противоположное мнение, хоть не надолго, а тоже тянуло глянуть: "Как и все на земле, Россет права! Да, привыкши замечать и объяснять явления только по видимой их связи меж собой, не хотим, а – вернее – не умеем мы прозревать и постигать начал. От того и не наступить никогда гармонии – все будет отверзто, разворочено и окровавлено насущным, а кто – как я – желает себе скорейшего удовлетворения, тот не только ближнего поражает, но и самого себя!"

[**PAGE 62**]

62

8

Неловко таки было по ссохшейся на дороге глине ступать! Чтоб по пустякам не сбиваться с мысли, Пушкин, поотстав от коляски своей, травой зашагал: "Вот – славно! – вслух произнес он. – В мире со всем надобно жить! В мире! – и тут же безнадежно усмехнулся: - В мире лишь блаженненькие живут. Людям же в постижении друг друга жить необходимо, а не в мире, ибо мир наш ничем, кроме бунта или смуты не ограничен! Одним тем уж он не хорош, что без резни и понятия такого не возникло бы никогда! Мир – суть следствие войны. Уповать на него – то же, что уповать на брань!"...

- Александра Сергеевич, – прорывался к нему откуда-то со стороны знакомый донельзя голос. – Александра Сергеевич!"

- "Я! Я! – про себя ответил Пушкин и хмыкнул: - Мир? Нет, вы скажите прежде из чего живете?"

- Не пуцают, Александра Сергеевич, дальше! – уже за рукав схватил его тот же голос. – Не пуцают!

- Кого не пуцают? Куда? – не думая вовсе о том, спросил Пушкин, глядя, сощурясь, на взявшегося перед ним невесть откуда Никитушку Козлова с шапкою подмышкой.

- Кого? Кого? Вас, известно, – объяснял тот, скребя в затылке. – Карахтин будто ладят.

- Что?

- Как бы сказать, от всяческой холеры, – рассказывал Никитушка, осторожненько беря барина под ручку и направляя его из перелеска, где найден он был, на дорогу: - Там, значит, куда самый поворот нам, имают меня, как бы спамши,

[**PAGE 63**]

из коляски и говорят, тпру, такой, мол, сякой! Али ты беглый, али от болести-холеры помирающий. Как же, говорю, помирающий, ежели только что во сне целовальника видал...

- Ну, ну, ну, – кивал ему Александр Сергеевич и вдруг остановился, как вкопанный. – Какой целовальник? Ты чего врешь? Толком сказывай!

- Толком, – чуть даже обиделся Никитушка. – Толк вона где, – он будто наугад, но верно ткнул рукой – Вишь?

С пригорка им хорошо виднелся косо развернутый на средокрестье трех дорог свежепокрашенный шлагбаум и десятка полтора шустро снующих около него инвалидов. Пушкинская тройка с уныло поникшим на козлах кучером стояла далеко на обочине. Вблизи нее, покуривая из крошечного чубучка, выхаживал голенастый чиновник в обтрепанном мундире. Запах его едкого табаку заметно перебивался серой. Ускорив шаг, Пушкин легко перемахнул ров и заступил чиновнику дорогу:

- Могу ли узнать причину меня остановившую? – Как можно медленнее спросил Александр Сергеевич, потому что мог в ответе последнею искрою навсегда мелькнуть белый, как кипень парус.

Чиновник легко оборотил к нему сухую свою голову и оказался с лица сильно похожим на какую-то большую птицу. Высоко к седым на лбу волосам тянулись его выпуклые надбровья, на нет к губам сходили щеки, а острый, тонко выгнутый нос, острием своим, казалось, тщился заменить совершенно отсутствовавший подбородок.

[**PAGE 64**]

64

10

- Милостивый государь мой, – забасил он, дергая вкривь и вкось свои, едва приметные под усами губы. – Причина задержания вашего лишь в вашей отлучке состояла. Не имея к последней ни малейшего отношения, я со своей стороны, толико одолжится у вашей милости надеюсь.

- А, - не мог не улыбнуться Пушкин: "Еду! Еду!" – Чем могу?

- А в том дело, милостивый государь, продолжал густеть голосом чиновник, – что в попутчики к вам намереваюсь я попроситься. Надобность служебная имеется у меня быть ныне же к вечеру в Питембурхе, а кибитку мою невдали отседова паралик разбил. Уж не откажите, сударь!

"Экая ведь с виду чертова птица, – быстро подумал Александр Сергеевич, сам не понимая, что нравится ему в этом нечаянном человеке. Может, мерный бой прибора чудился в его рокочущем басы?"

- Добро, – кивнул он. – Только – чести не имею знать вашего имени-отчества – карантинные инвалиды сии нас обоих воротить могут!

- Еспер Феофилактович, – охотно представился птицеподобный чиновник и небрежно глянув на шлагбаум, успокоил. – Пост сей мною же самим нынче и выставлен. Опасаться его ровно никакого резона нет!

- Ну и славно! Тогда с богом, – заторопился Пушкин. – Никитушка, голубчик, ступай к Василью на козлы: на твоём месте барин поедет.

[**PAGE 65**]

65

11

- Премного благодарен вам, сударь, за то, – степенно поклонился Пушкину Еспер Феофилактович и отошел с приказанием открыть дорогу.

Александр Сергеевич в коляске его подобрал уже за шлагбаумом. Инвалиды сильно курили им вслед из двух жаровен серою.

- Надобно сказать вам, милостивый государь, что копчение холеры серным дымом, едва ли много пользы приносит. – Отнесся к этому, раскуривая новую трубку, Еспер Феофилактович. – Все едино, что табашный дым!

Пушкин не отвечал. Ему новый, нежданно напросившийся попутчик уже кажется, и разонравился. За многие годы езды по России, привыкнув к случайным трактирным откровениям и рассказам, он терпеть не мог служебных разговоров; знал – попадись под руку чиновник из почтового ведомства, тотчас же усядется бранить порядки своего департамента; подвернись батюшка – глазом не успеешь моргнуть – охает свою епархию с благочинного начиная; окажись рядом доктор – и немедля ото всей медицины только пух полетит, уж на что не говоруны уланы, а и те – это и вспоминать-то подробно брезговал Александр Сергеевич! – случись спор, камня на камне не оставят от полковых канцелярий! Видит бог, тут уже не времяпровождение вовсе, а хворость национальная!

- Приметил я, сударь, как на речения мои усмехнуться вы изволили, – из синего дыма свое гнул Еспер Феофилактович. – Тому на вид представлял я лета мои преклонные. Хоть и немало на веку своем хлеба перепортил, - однако ж, смею сказать, супротив воли куска в рот не поклат! Из единой,

[**PAGE 66**]

66

12

что ни есть праведности существование вел-с!

- Служили? – потерялся Александр Сергеевич. Всегда ему неловко становилось, когда – случайно ли, нарочно ли – подсматривали в нем что-либо верное от природы. Основанные на истине наблюдения сторонние Пушкину медлительным одиночеством оборачивались; пуше прямого отступничества непростительна искренность тому, кто уже признал над собой, положенные меж людьми, правила игры... Пушкин глаза опустил.

- Иной, сударь, и на девку, ровно на подряд смотрит, – будто продолжить о чем тянуло Еспера Феофилактовича, но оттого, что молчал, потупясь, собеседник его, за лучшее счел он, кроша на коленях табаком и прикашливая поминутно, в мемории пуститься. Как водится, издалека начал: в почтительном пустословии долго плутал вокруг мелкоместных предков своих, смаковал, не без удовольствия, отроческие безурядицы сердца, на корыстную холодность некой Амалии Дмитриевны пылко жаловался. И как покойно не укачивало Александра Сергеевича от мерного низкого голоса его, от дороги пылью, что бархатом, выстеленной, – а все негладким выказывалось житье-бытье сопутника-чиновника – то оно по обыденным ухабам из стороны в сторону билось, то в кровь по жнивью плелось, то – отблесками великих мира сего пригретое – в благополучие напрочь исчезало, оставляло по себе сияние лишь. Примечательно, что Есперу Феофилактовичу для безоблачных дней жизни его слов не хватало. Речистый на невзгоды всяческие, он с благополучием сталкиваясь, тупел поразительно, крикал единственное: Сие, сударь, неповторимо было-с, неповторимо!

[**PAGE 67**]

"Еще бы, неповторимо, – откликнулся про себя Пушкин. – Щей от пуза да фатерка казенная!" А Еспер Феофилактович, меж тем окончательно распутав доморощенную хронологию рассказа своего, повествовал уже о том, как был он при Павле Петровиче лекарем назначен. "- Именным-с указом! – пыхтел через трубку он. – Лично зрел-с подпись монаршию! И надобно сказать правду, нисколько не подвел высочайшего доверия, тем паче, что до назначения и в глаза лекарей не видал-с!

- Как же недужных-то пользовали? – заинтересовался тут Александр Сергеевич.

- Я, сударь, прежде-с на лошадях уволенных попрактиковал, – с достоинством пояснил Еспер Феофилактович. – У нас в полку это очень даже возможно было-с! Одним я, значит, кровь пушал, другим – пьёвок ставил, третьих – ромашкой поил! Преизрядно-с! С десяток, почитай, всего и околело-с! Да-с, – сам себе изумляясь крутил он головою. – Эдак вот начинал-с, а ныне отставь пользоваться, так, кажись, тотчас и помру, до того обвык!"

Все так просто из слов его выходило, что Пушкин даже спросить ничего не нашелся. "Необыкновенно верно! – холодно мучила его одна-единственная мысль, проростая всюду, куда бы ни кинул он взгляда, с неуклонностью решетки. "Везде так, везде! – стиснув зубы, тщательно перебирал он четкие частые звенья ее и вдруг запнулся: увидел – сколько позволяли то прутья – себя в Царскосельском парке. Вот – голова преклонена, вот – цилиндр на локте, а насупротив – ну, прямо картиной картина – Николай Павлович в колясочке, глаза

[**PAGE 68**]

68

14

лак ее слепит... "А что, если, – тут же шевельнулось в мозгу, – и я такой же историограф, как чиновник мой – лекарь?! Однако, нет, – поторопился окоротить себя Александр Сергеевич. – Вздор сие! Петра я непременно напишу! Со всем тщанием, на какое способен! Зря, что ли, он на язык так и просится!" – "На ваш – да! – дрогнул ему откуда-то падающий голосок Россет. – А на язык истории государственной? – "А я, сударыня, разницы меж сими языками отнюдь не делаю! – Ее, только ее, язвительно, молодо и сильно хотел осадить Пушкин, но мимовольно иное сорвалось: - Ведь не стоять же мне на месте! – почти жалобно, вслух попросил он.

- Истинно-с так, сударь, – сейчас же поддержал его ни на мгновение не умолкавший Еспер Феофилактович. – Сими вот словесами и искал я одобрения в дому своем! Однако ж – и нет! Так и осталась семья в белокаменной! Я ж в Питембурх направлен был для принятия строжайших карантинных мер с попутным искоренением сей заразы заморской. Тяжко-с, сударь!

- Али не искореняется?

- Куды там! – вытянулся весь Еспер Феофилактович. – В Новгородской губернии народ будто градом повыбило! Села, почитай, все пустым-пустышеньки стоят! Господи-Исусе!

Уже привычным стало Пушкину совсем подле ощущать стремительную поступь холеры. Видно, бог миловал, тень ее всегда за спиной оказывалась и не страшила ничуть, а, напротив, весьма живительным образом действовала – на скорые

[**PAGE 69**]

решения понуждала. Смерть же свою от чего-то там желудочного вовсе не представлял Александр Сергеевич; он более докторов опасался. Потому, с пренебрежением несколько, и спросил:

- А что, сказывают, не так холера страшна, как бунты! Народ больно беспокоен стал. Примечали сие?

В ответ Еспер Теофилактович начал, сильно руками разводя, на собственный опыт ссылаться, привел пропасть замечаний супруги своей, битый час доказывал, что бунты едва ли не от тех же миазмов, что и холера происходят:

- Суть причины сей, – клубился он едким дымом, – в неравном скоплении народа состоит! В каком месте более подлых людишек соберется, там те и смута, там те и холера. Возьмите, сударь, Сибирь! Али там хворают, али бунтуют? Нет-с, нонеча я с указом особым еду! Вот соберу, как положено инвалидную команду да аммуницию выправлю – будьте покойны – все выздоровеют! Так-то-с!

Доброго, но, как видно, бестолкового старика поленился огорчить Пушкин спором. К тому же, рано начатый день давал себя знать; время выматывая жилы, тянулось непомерно. Еще только едва-едва перекаtywало солнце на вторую половину пути своего, а уж безотлагательно просилось ночи, тишины и звезд. Подобно бездомным ночным бабочкам в огне поздней одинокой свечи, мельтешило в сознании все с утра передуманное. Притчилось: арапчонок на гигантской женской груди сидючи с Александрой Осиповной перебранивается, Никитушку Козлова Таша с ложечки сливками потчует, а Еспер

[**PAGE 70**]

70

16

на трубку, как на трость опираясь, инвалидной бригаде предводительствует и мановением руки его синюшные холерные лики румянцем, ровно яблочко, наливаются...

"Так и должно быть! – сияясь не смежать липнущие друг на друга веки, со всем соглашался Александр Сергеевич. – Последовательность человеку не для действий – для размышлений дана!" – но и это уже гасло, неосязаемое ничто расступалось перед ним, чтоб завертеть, без следа растворить в себе...

Лишь от толчка сильного, в виду Чесменской часовни встряхнулся Пушкин. Сопутник его, посапывая, хохлился напротив. "Дремлет мой приказный исцелитель, – смерил его взглядом Александр Сергеевич. – Задумываться-то ему словно бы и не о чем!" Более половины из того, что поведал ему Еспер Феофилактович пропустил вовсе Пушкин, но было достаточно и этого: сильным привкусом никчемности несло от лекаря. "Ведь всю подноготную мне разложил, – досадуя скорее на себя, нежели на него, грыз ногти Александр Сергеевич. – Знаю, как детушек воспитывает, чем жену ублажает. Службу знаю его и сердце, а что из этого? Получается, чем полнее предстает перед тобой жизнь человеческая, тем пустее смысл ее! Кто сумеет доказать, что существовал когда-нибудь на земле подобный Еспер Феофилактович! Чем? Право же, нуль взятый сам по себе и то убедительнее!"

Меж тем, наощупь потянул Еспер Феофилактович из трубки, звучно поперхнулся, открыл сначала рот, потом глаза, спросил растерянно:

[**PAGE 71**]

71

17

- Сенной, сударь, не было еще?

- Э-вон! – кивнул Пушкин. – Звонница. Это Спас и есть!

- Тогда благодарствую премного, – засуетился лекарь. – Тогда зеся и сойду! В сем месте, сударь, головная команда моего карантину имеет быть. Об этом разе мне никак опаздывать нельзя. Никак!

Остановив коляску, вышел со стариком проститься Александр Сергеевич. Невесть с чего тот даже прослезился:

- Уж так вы обязали меня, сударь, что я и об имени вашем справиться позабыл! Не посетуйте на старую голову, назовитесь.

Нехотя Пушкин представился. Уходящие на нет щеки Еспера Феофилактовича морщинами пошли.

- Тот, значит, Пушкин вирши которого? – изумленно произнес он.

- Нет, – из коляски уже отвечал ему Александр Сергеевич. – Вирши которого – это другой! – и более не обинуясь приличиями, приказал кучеру: - К Демутову выворачивай!

Тут в скрежет колес по булыжнику из переулка, куда медленно скрылась смущенная новым знакомством фигура Еспера Феофилактовича, робко плеснуло медью: к поздней службе ударили над Сенной. В душном, стеною стоящем воздухе, неспоро набирал звук силу, еще западали низы, в верхах же монотонно прозвякивало железо. Кривя губы, чтоб не прикусить

[**PAGE 72**]

72

18

языка, сбивался слушать Пушкин: ухаб – толчок – удар колокола, ухаб – толчок – удар колокола, ухаб – толчок – ухаб... Внезапно загустев, тяжкий гул так плотно пошел по-над землей, что необходимым показалось подобрать ноги. Александр Сергеевич в противоположное сиденье носками уперся. Будто легче стало, жесткая маята тряски оставила терзать тело; перервался путь от слуха к сердцу; жилами в надежде исхода потек звук. "Ныне отпускаеши... – бесценным серебром изнывали колокола, и все, что ни жило округ на земле струилось, прощенное, за ними, ввысь, в небо. "Нет средь мы виноватых, скорбных, обездоленных и никчемных! – слышалось в частой многоголосице. – За всех равно принял при бандитским Пилате смерть Иисус! Все искупил он кровью своей!"

"Отче небесны! – предчувствуя скорую волну мертвящей тишины, поспешал Александр Сергеевич. – Сын человеческий! Человек муками на кресте истекший, прости мне! Был я некогда юн, беспечен, влюблен – каюсь! Вот: состарел, опустели дни мои, а ночи воспоминаниями обагрились – не оставь же меня! Как чаша с дарами тебе, полон дом мой любовью и верой, но все взыскую я очей близких мне и сердца кровного – призри сие! Подле безлюбых чад твоих, Боже, борят душу мою многие страсти – снизойди до них!

Умирили колокола, долгие-долгие повлеклись перебои, креп язвящий душу скрип веревок. Мерк свет и необратимо пустел мир.

[**PAGE 73**]

73

19

"Нет, постой же! – больно сомкнутыми пальцами не пускал кого-то Пушкин. – Я тебе, творец, еще не все поведал! Когда одинокая кручина снедала меня, когда над самим собою в Михайловском я руку занес – не было тебя рядом, искупитель! Горе повернутыми стояли очи твои! Потому, ни в чем перед тобой не знаю я вины своей – уж прости мне! И что молить у тебя мне нынче нечего, – уже не замечая глухо обступившей улицы тишины, шептал Александр Сергеевич, – тоже прости!

7

К утру – в кабинете Зимнего сон его всегда прерывистым и плодотворным был – явилась Николаю Павловичу давножданная мелодия. За просмотром секретнейших своих бумаг не раз уж прозревал император ее прихотливое по зале скольжение: за скрупулезным, допоздна усидчивым постижением инженерного искусства ей только повиновался таинственный шелест ночных чертежей, и уж, несомненно, за ней, единственной, гарцевали на незабвеннейших кавалерийских смотрах разноцветные полки. Неосторожной улыбкой боясь спугнуть ее, государь глаз внимательных не спускал с нее, незримой, но музыка и не думала уходить – ею полон был покой. Равно далекая и от официально-напыщенных маршей и

[**PAGE 74**]

74

20

от салонной изнеженности, строгая и гармоничная вместе, она – наконец-то! – сама трепетала от уверенной медлительности, правившей каждым движением Николая Павловича, покуда высвобождал он из футляра привычный свой корнет-а-пистон. Еще миг – надобно было дать мундштуку инструмента прогреться в ладони – и на письменном столе прямо ожило безмерное чудо весеннего парада. Тронулась, вызванная аммуницией, пехота; приглушенным гулом издалека поддержала ее артиллерия, будто подвески хрустальной люстры перебирая, в сверкании нестерпимом, заторопились уланы. "Ай, молодцы ребята – семеновцы!" – горело перед глазами Николая Павловича, и, отбивая ногою такт, ничуть не удивлялся он, что горячим, как плоть женская, наливается костяное тело инструмента, а собственные его жилы пустеют каждым выдохом. Так нужно было! Как оступившийся на быстрину потока тростник, тянулся государь вслед им самим созданной стихии. И сил человеческих недоставало оставить вольное скольжение это и жить можно было повинуюсь лишь.

А марш, меж тем, сам собою кончался. К походу вскрикнула под солнцем труба, задымилась над пушками пыль; унося топот свой уж не на Польшу ли? – рассыпалась конница с флангов. Пустел на глазах плац. "С вами я, с вами!" – всем сердцем своим стремился государь, но истекая последними конвульсиями музыки бровью повести не мог: оставался все, оставался, – оставался!

[**PAGE 75**]

75

21

...Бледный, сел на подоконник, корнет-а-пистон жег руки, отложил его в сторону. Отвердевшие губы покусывая, повел плечами, откинулся назад, ожегшись о настывшее за ночь стекло – отпрянул, спрыгнул на пол, по тугому наборному паркету, приседая несколько, прошелся из угла в угол, сильно сплел пальцы, хрустнул ими, вздохнул – отпустило. Ушло. Сызнова пуст был кабинет. Будто и не было никогда музыки. Тихо-тихо; слышно, как за окнами шуршит о гранит Нева.

"Се – к именинам моим подарок, – мысленно любуясь творением своим решил Николай Павлович. – Лучшего не сыскать!" – И верно, кто же и мог точнее усладить государю, нежели он сам? Помятуя крепко, что человек суть сосуд скудельный, привык уже Николай Павлович во всем лишь на себя самого полагаться. Но нынче иным держалась жизнь. Приспевшая к утру мелодия – вовсе готовая, уже любимая – как переродиться заставила императора: редко когда так свежо дышалось ему, так беспричинно двигалось, так верилось легко.

Зарей потянуло от окон.

Не смея тревожить поздно ко сну отошедшую, да к тому же и на сносях бывшую императрицу, приказал государь подать ему кофий утренний в зимний сад. Пока ладился прибор, обошел он оранжерею. Среди полного лета жалкой показалась ему изысканная зелень ее: кой-где уж багрянец виднется,

[**PAGE 76**]

76

22

цветы никнут. "Человек предполагает, а господь располагает, – насмешливо думалось Николаю Павловичу. – Что может быть проще и полезнее неукоснительного соблюдения естества?"

Смакуя, как любил он, кофий на ложбинкою вогнутом языке, припоминал государь еще раз давешнюю мелодию свою и остался ею вполне доволен: "Отменно!" Мнилось ему, что и в грозной гармонии дел государственных способна она подмогою быть. "Сколь не случилось испытаний в отечестве моем, – подгибал он пальцы, – всегда на внимательный взгляд оказывалась в них система определения, иными словами, метр. А метру что противопоставить можно? Не беспорядок отнюдь, но метр же, только лучший, потребный обществу, полезный! Отсюда и разумность правления есть поддержание порядочной размерности. При сем условии никаких бедствий и быть не может!"

Сквозь стеклянный потолок щедрым потоком лившийся – дневной уж, верно, – свет лишил, однако, Николая Павловича задумчивости. "Надобно нынче же новосочиненный марш мой для оркестра переложить! – встрепенулся он и вызвал флигель-адъютанта.

- Слушаю, ваше величество!

Государь будто внимательнейшим образом разглядывал молодого человека, но на самом деле не замечал его вовсе.

- Ты, стало быть, - мерно наказывал он, осязая во рту вкус кофе. – Сыщещь мне капельмейстера. Пусть приготовит он, по усмотрению своему, музыкантов поизряднее и

[**PAGE 77**]

77

23

и инструменты их. Едва освободившись, займусь сим!

Из почтительного поклона кося глазами на пол, не упасть чтоб, посланный удалился бесшумно, а Николай Павлович, вовсе уж было собравшийся супругу навестить, шагу не поспел сделать – вошел к нему брат его, великий князь Михаил Павлович.

- Никс, с ног посбивались тут все, – тотчас же начал внятную скороговоркою он, но мановением руки остановил государь его:

- Сядь прежде!

И долю мига, коим враз, как прикипело к почти бесплотному абрису канапе осанистое ловкое тело его высочества, любовался им. Младше государя всего несколькими годами, походил Михаил Павлович на розоватое, венецианского стекла, отражение венецианского брата своего: где, будто из мрамора иссеченные, столбенели величавые жесты Николая Павловича, там младший – предобрый малый, остряк, – ровно бархатом обернутый скользил, и что одному было знамение времени, то другой по гостиным шарадам представлял; любили они друг друга без памяти.

- О чем, бышь, ты? – улыбался государь.

Михаил Павлович подхватил выражение лица его, поддержал на углах губ, обратил в недоумение простодушное, усмехнулся:

[**PAGE 78**]

78

24

- Ума не приложу, Никс, чем так действуешь ты на меня? Ведь ног под собой не чуял, когда шел, а на тебе... – и по-детски совершенно заморгал.

- Итак, слушаю! – тоном строже промолвил Николай Павлович: даже правды на комплимент похожей, не терпел он.

Его высочество – шуткою – на звук ухо оттопырил, но признаяв у брата холодку в очах, сам остыл, ладонями колени оплел, произнес ровно:

- Беда, Никс. Народ взбунтовался!

- О, только не народ, Мишель! Не народ! – От негодования у государя нервически задрожали пальцы. – Чернь!

- Да? – чисто глянул на него тот и все более волнуясь, продолжал. Они там, на сенной, лекарей бьют! Им это, видишь ли, лучшим средством противу холеры кажется! Они, Никс, все еще почитают, что миазмы в немецком платье обыкновенно разгуливают! Они, брат, с ума сошли! – доброе лицо его исказилось. – Их спасти надобно, государь!

- Какая мерзость! Боже мой! Полицмейстер где?

- Там, Никс. С уланами! Полагаю, кровопролитию быть!

Николай Павлович встал. "Да, этот миг – мой!" – стучало в мозгу барабанными палочками; очи устремлялись вдаль.

- Друг мой, - обняв брата попросил он, – позаботься, чтоб Александра Федоровна ничего не узнала. Сам видишь, мое место – там! Я чувствую в себе достаточно сил...

- Никс! Ты не сделаешь этого! Я не допущу, Никс!

[**PAGE 79**]

79

25

Но лишь скорбно улыбнулся на увещание государь.

Сызнова ожившая в нем мелодия марша новосочиненного действия требовала, вперед гнала, туда где полки сражаются, где вершатся судьбы мира, где плюмажами цветут черные шляпы полковых командиров. От того не брату уже, но всем, кто помощи от него ждал – и Польше, и Кавказу – отвечивал император:

- Не вольны мы в себе, Мишель! Судьба монарха в повиновении долгу состоит! А тебя попрошу в Зимнем остаться! Ты здесь нужнее, слышишь? Ну, даст бог – свидимся! Прощай, брат!

Накрест обнял и троекратно расцеловав, вышел.

В растерянности полнейшей, чтоб хоть сколько-нибудь с мыслями собраться, настежь распахнул Михаил Павлович двери душевой оранжереи и прямо на распахе узрел вытянутую смиренно фигуру очередного флигель-адъютанта Налымова.

- Что ты?

- Давеча его величество изволили повелеть мне капель-мейстера сыскать. Я исполнил.

Капельмейстера? – как не расслышав, не понял великий князь. – Ах, да! Брату! – и не удержался: в сторону глядя сказал: - Его величество за это время нашел себе лучшего исполнителя. Полицмейстер на сей раз им будет!

[**PAGE 80**]

80

26

8

Разумеется, из соображений высочайше-высших, государственных, всенародных и человеколюбивых, въяве осязая под рукой своей державную поступь истории Русской, полный резон имел Николай Павлович, в шенкеля взяв буланого иноходца, мчать пыльным булыжником Гороховой, не оглядываясь даже на исправно поспешавших за ним лейб-гусар, только – откуда бы ни шла подмога, – а непрозрачная мертвая пленка уже narosla в отверзтые очи Еспера Феофилактовича, и на костлявое птичье тело его, оттого что билось зазря, уже опрокинулся с ближайшего воза рогожный куль кислой капусты. Грязно-бурый рассол тек.

В судьбе своей неловкой добрый старик, отчасти, сам повинен был. Видимо, чересчур умаслило его привольное, почти бесслужебное житье в перводержавной. Он никак в новую колею потрафить не мог. Так, прибыв к месту положенного ему карантина, заместо обычного для людей его должности, сбирания мзды да подвоза хлоры с серою, занялся Еспер Феофилактович приисканием приличного – на случай выявления недужных – помещения. Натурально, среди тьмы давченок и летних конюшен, обступивших Сенную плотней вражьей осады, ничего подходящего он не нашел и лишь достоинство свое казенное примарал. Пришлось команде его инвалидной самой сбить себе на живую руку в закуте близ Спаса дощанник. "Виданное ли дело, у

[**PAGE 81**]

у божьего-то места пакость всяческую разводить! – не без горячности толковал об этом день и ночь снующий по Сенной народ.

Но еще более поразили его последующие действия Еспера Феофилактовича. Откормив, елико возможно, инвалидов своих, пустился лекарь в невиданные какие-то дозоры. Неделю напролет рыскал он вдоль и поперек рынка, заглядывал под все возы, крепко торможил распивочные и кабаки, проходу не давал для торговлишки наехавшим мужичкам и безжалостно волок за собой всякого, у кого в лице, хоть что-либо синее обозначалось, будь это просто нос или какое другое мордобойное художество. Стон пошел по Сенной, ибо "васильки", как прозвали пирожники подопечных Еспера Феофилактовича, возвращаясь из карантина, серой припахивали, аки черти, и в разговорах околесицу несли совершеннейшую. Каждый из постоянных обитателей рынка грудью за них рвался стать, повода вот только все не представлялось.

А тут Еспера Феофилактовича, как на грех, бес старческий попутал. В один из очередных дозоров своих прихватил он себе не синерожую отнюдь, а дебелую необыкновенно и по всем статьям тугую весьма девку Лупку. Девка эта для Сенного рынка таким неиссякаемым кладезем была. Со всем всяк к ней шел и не было случая еще, чтоб воротился не солоно хлебавши. Потому, осиротев так принудительно, вовсе смутился народ: по трактирам только и говору было, что о притеснении христианам. Последний обожатель Лупкин, беглый

[**PAGE 82**]

82

28

солдат по прозвищу Нукало, куда бы ни явился, тотчас же из себя выходил: "Ну-к, что! – орал он первому встречному-поперечному. – Дожилися! Али мы уж и не православные? Татары, что ль? Ну-к, ответь, – брал он за грудки слушающего, – почто согласие порушено? Рази по-христиански эдак-то?! Нет, ты, значит, ейной бабиной, то исть, особенностью пользуйся, дык хрещеных не забижай!" И хоть давно известно всем было, что пустее Нукалы не сыскать на Сенной человека, размашистая скорбь его весьма заразительно действовала; каждый, слушая его, тоже начинал почитать себя обойденным, и живо росла ватага одномышленников, и уж стали они из разных кабаков в один выделяться. Нукало же, более других запомнивший смак разных до Лупки относящихся подробностей и умевший о том громко бахвалиться, вышел неприметно на первое средь них место. Его уже кой-где и по отчеству чествовали.

Сама Лупка вряд ли что прозревала о волнениях, которые завела меж населявшими Сенную бондарями, разносчиками требухи, блинниками, из Пскова да Новеграда наехавшими рыбаками, жирующими по летнему времени дровяниками, прирожниками, мясниками, сидельцами никому неведомых лавченков, крючниками-ухарями, каменщиками и даже одним булочником. Отродясь не помнила она себя в смятении, всегда выпуклы и серы были глаза ее, и одно доброе умела замечать она округ. Другого для нее и не существовало. Что стояло перед ней, то и любила Лупка. Как же иначе? Вот – была она в Тульском имени

[**PAGE 83**]

у барина своего горничной, да что горничной – боярыней, а сошел с круга Тимофей Ильич, все родовое свое заложил, в портфелью кожанную набил ассигнации и – с ней, с Лупкой – айда в белокаменную: два месяца краду возил он ее там от цыган к цыганам, вина сладкие шампанские рекой лил, апельсины заморские просил, чтоб ногами босыми давила, а подошла пора долги платить – сгинул, и будто не было его никогда. Даже лица его не припомнить! А он, может, и по сию пору жив, обретается где-нито при монастыре, из милости послушничает там странником убогим, за всех нас у Христа молит, только не увидишь его отсюда! Стало – пустое это место! А Лупка – вот она, как прежде горяча плечами и – главное – кругом идет, куда захочет! Черта ли мне в Москве, да я здесь, на Сенной пляшу нынче! Сторонись, коли не шибок.

А не поспел Еспер Теофилактович посторониться. Под утро – пьянее вина самого оказалась вся команда его инвалидная – обломил из жилистых рук лекаря трубку беглый солдат Нукало, выволок обмякшее тело на улицу и, как птичью тушку никчемную, швырнул обзёмь: "- Ну-к, получай!" И тотчас же тремя острыми языкам пламени подыхнул и бледному небу злосчастный карантинный дощанник. Походило отдаленно гудящее тулово пожара на гребень петуший, и весь спозаранку встающий люд рыночный, как знамение божие принял сие: то холера сама горит! "Хворость, братцы, немецкая занялась! – метнулось по площади из уст в уста, и нестерпимо желтым загустел над спящим еще градом огонь. Немолкнущий

[**PAGE 84**]

84

30

собачий лай набрал такую частоту и силу, что сделался почти незаметен, лишь редко-редко прорывалась сквозь него звенящая мольба накрепко запертых по конюшням ездовых лошадей. Вдруг от Спаса волною, разом сбивший пламя до земли, накатила рвущий уши визг. Ни человека, ни зверя не достало бы так крикнуть. Казалось, то в недостижимой выси, подле горнего господнего престола, измучась неисчислимостью мерзости людской, навсегда лопнул свод небесный, и тьма разверзлась. Лишь неделю спустя узналась истинная причина оцепенения неизъяснимого: это просто копытами сбесившиеся кони насмерть зашибли малоумного дурачка Ондрюшку. Опоздав, истина эта пошла по городу сплетней безобидною, тогда же – толпа застыла, кто где стоял замертво. Оледенели в бессильной немоте сердца малых сих и, отойдя, уже не могли мыкать дни свои по-прежнему; поняли – на каждом шагу живет насущное. Смешалось, все что ни бурлило на площади в цельную огромную плоть и исполнилось единой кровью. Под круглым желтым солнцем, подобные грязным каплям ртути, от рынка к Вознесенскому, от Екатерининского к Спасу, обрастая на пути сажей, гомоном, дрекольем катались по Сенной колючие людские ватажки; сшибались, чтоб рассыпаться в прах; гибко обтекали там-сям подрагивающие лоскуты жалкого при дневном свете огня; как сединой покрывались пеплом и пылью; устали народ не знал и знать не хотел. Споро, будто порох, горели немецкие красильны. Сопровождаемые преклонением всеобщим, путались под ногами освобожденные "васильки"

[**PAGE 85**]

85

31

Еспера Феофилактовича. На алых угольях рухнувших прилавков овощных лютою смертью исходил, лишался неприкаенного живота своего Митюха Рыжий, которого сгоряча за чумного немца приняли, потому что ходил он обыкновенно как-то боком и в разговоре шибко гунявил, плюя слюной. Подгоняемая разбитой телегой своей, из угла в угол грохотала по площади бездоглядная чья-то лошаденка в наглазниках. Два ражих псковича в кожаных передниках шарахнули ее бревном по хребту, и, брызгая из лопнувшего брюха зеленоватыми кишками, дико выворотя шею, прынула она всей тяжестью своей прямо под ноги раскатившимся от Садовой уланам. И те, присланные полицмейстером для наведения спокойствия и порядка, пошли крушить все, что под руку ни подвернется. Толпа мятежная поначалу было струсившая грозного блеска падавшей и лязга подков, чуть отгеснилась навстречу усмирителям, но вскоре нутром почуяла, что ничем, собственно, не рознятся меж собой настроения их, и прихлынула еще плотнее. Перепугались ряды. Бунт пошел на бунт. Смута и власть растворились друг в друге, осталась разница лишь в одежде да вооружении. Пыль столбом поднялась.

Неожиданно нарочито уверенная поступь многих копыт издалека сотрясла площадь. Казалось, никто ничего не заметил, еще продолжала брань свой неровный рассыпчатый ход, звенело стекло и озлобленно ржали лошади, а уж завиднелся во всем разом устаток. Будто меньше воздуха стало на Сенной: медленнее замахивались локти, легче опускались кулаки

[**PAGE 86**]

86

32

и палаши. Чье-то покамест, как тень, ощущаемое присутствие мерно надавливало на площадь со стороны Невского. Тише сделались голоса, метнулся от крайнего предела Спаса батюшка с образом в руках...

И всеми тотчас же увиденный – всякий побожиться мог, что именно рядом с ним! – явился дерзкому народу своему государь император. Гулко покатился в тишину кивер с чьей-то головы.

Лик свой прекрасный и гневный в очи каждому поворотил Николай Павлович, не шевельнув ни единым мускулом. Конь застыл под ним боком и короткая ухоженная шерсть его серебром отливала.

Мать пресвятая заступница! Никак Егорий Победоносец! В небо срываясь, стрельнул над головами высокий женский голос и захлебнулся в корчах где-то обземе грянувшей кликуши.

В половину меньше ростом стала толпа на площади: все пали на колени.

- Одумайся, народ русский! – Не размыкал уст государь, ибо не с земли была речь его. – Больно отеческому сердцу моему зреть преступное баловство твое!

Как мелом плеснуло на толпу, побелели все с лица.

- Тем ли отвечаете мне на заботу мою? – Далее трубило над Сенной. – Так ли служите мне, отцу вашему?

Долу поникли головы буйные.

- А по сему и спрашивать буду с вас, чего заслужили!

[**PAGE 87**]

87

33

"Спроси, батюшка-государь! Крепче спроси с нас, неразумных, отец родной! Ослобони душу!"

- Повелеваю: зачинщикам бунта вперед выйти! Остальным ждать! – Не услышалось, но осозналось в бестрепетном знойном воздухе полудня.

И разом у всех отняло дыхание. Кончилось время и не было его, покуда на царский взор, как на магнит, не повлекся, обтирая что-то с губы и высоко подгибая на ходу голенастые ноги, дюжий малый в рваной ситцевой рубахе с густо исцарапанной рожей. Остановившись, саженья в двух от морды коня, он истово рухнул в пыль. Иноходец, оскалясь, подался назад. Вздох прокатился по Сенной. Всюду слышались рыдания.

- Встань! – Долгою искрою блеснули глаза Николая Павловича. – Встань и винись!

Лежавший судорожно передернул спиной, заскреб по земле руками и, наконец, чуть не ломая себе хребта, боком поднял голову. Лицо его было лишено всякого выражения, на ноздрах то и дело лопались, выдуваемые обрывистым дыханием розовые пузыри.

- Ну-к, я, – всем телом своим выталкивал он из перекошенного рта, – дык, я, батюшка... То исть, вместях! Как говорится, супротив хотениев...

[**PAGE 88**]

88

34

"- Боже! – ужаснулся император. – Это же не человек, это безумец! Его наказывать – все равно, что червя на гауптвахту сажать!" Ему захотелось немедленно оставить это унижительное, позорное место. Прочь! Скорее прочь, чтоб ничего не видеть. Не знать, а быть, по-прежнему, просто вершителем судеб, писать марши и читать чертежи! Боже...

Валявшийся, меж тем, подполз ближе, и, изловчась, поцеловал коню бабку правой ноги. Иноходец брезгливо переступил в сторону и в кровь размозжил несчастному пальцы.

- Ради всего святого, – едва удержавшись в седле и всем горлом чувствуя близкую тошноту, попросил адъютанта Николай Павлович. – Уберите его отсюда! Пусть идет! Куда угодно. Слышите?

- Ваше величество, – почтительно встрепенулся молчавший доселе полицмейстер.
– У меня тут обоз розог на подходе! Люди мои проведут экзекуцию, как нельзя лучше!

- А? – поперхнулся император и вдруг, ничего перед собой не видя, – закричал, что было сил: – Я, государь ваш, повелеваю: немедленно разойтись, немедленно, немедленно, мигом!!! – Более всего в минуту эту жалел Николай Павлович марш свой. "Погибла музыка, погибла! – пылало у него в висках и когда тихим шагом возвращался он в Зимний. – Погибла!"

Первым, кого увидел он во дворце был Михаил Павлович.

- Никс, родной! – тотчас зачастил он. – Ты жив?

[**PAGE 89**]

89

35

Николай Павлович нашел в себе мужество улыбнуться:

- Никто, брат, не знает, – сказал он, устало глядя в землю, – как велик и чист сердцем добрый народ наш. Он – дитя! Я нынче имел несчастье лицезреть дурную шалость его, но смирение русское, клянусь, все превзошло сторицей! Я только что искренние слезы раскаяния на глазах человека, коему доверие оказал, видел! Сие неповторимо, брат! Незабываемо!

... Вечером того же дня хмельной и сверх меры всякой радостный, пуще прежнего буянил в полутемной распивочной на Песках Нукало.

- Ну-к, что? – кричал он во всю мочь вытягивая окровавленной тряпицей стянутую руку. – То-то вот! Что называется, царский конь, то исть! – И все приставал к ярыжкам, не знает ли кто из них такого снадобья либо наговора, чтоб пальцы ввек не заживали:

- Ну-к, ведь чистая, как говорится, память!

9

Точно: боком выходила Александру Сергеевичу невесть с чего затеянная им поездка в Петербург. Дня четыре, коли не долее, проболтался он по залитому желтой липкой жарой городу, а все было так, словно за каждым шагом его тянется, как квашня приставшая, прошлое. Все, что казалось давным-давно

[**PAGE 90**]

90

36

позабыто уж, узнавалось с какой-то неумной точностью и живостью. Вон, за Исаакиевским мостом Васильевский расплзся сиренью поросшими берегами: боже! Чего там только не было наворочено в оно время с Дельвигом! А Галерная? Где с дерзким во хмелю Всеволожским, лет десять тому, имели они обыкновение, возвращаясь поутру из одного не вовсе приличного дома, цеплять на скандал всякого встречного! Или, еще хуже – италиянская! Сколько объятий чайных и нечаянных унесено по ней шальными полуночными экипажами! Бог мой, нет числа и возврата нет! Одна память оставлена, как в насмешку, а что проку в ней? Даже в ломбард не сдашь! И с едкой доходчивостью представлялось Пушкину, будто не в столицу государства российского приехал нынче он, но в чудом сохраненную, как было, собственную жизнь. Резало глаза смотреть, как по загаженным каналам бессильной водой течет жаркая кровь былых дней; великолепием несбывшихся отроческих мечтаний смущали душу разбросанные вдоль гранитных набережных дворцы; а сколько – куда ни поведи взгляда – валялось округ тупых, глухих, кривых, полузадушенных потемками закоулков, сколько лживых – для виду лишь – окон рисовалось отовсюду! "Аз грешен есмь! Отверзи, отверзи ми двери!" но не к чему было проситься – и так все настезь стояло! Только куда ни пойдешь – все на месте будешь, ибо не одушевлено движением прошедшее, на застылость обречено.

[**PAGE 91**]

Ничего не понимал Александр Сергеевич, сжимал виски ладонями, бегал из угла в угол по своей наспех нанятой комнатенке, часами то туда, то сюда гонял коляску, глаз не отрывал от окон. – Пусто было. "Хорош, однако, роздых! – колко думалось ему. – Сбеситься можно!" Из знакомых никто не попадался ему в дни эти; всех, видимо, ленивым своим бичом разогнало по заповедным вотчинам да имениям летом. Ни души везде.

Окончательно соскучась, завернул Александр Сергеевич к Хитровой на Черную речку.

Элизи, в немолодых уже годах, дородная и добрая, донельзя обрадовалась гостю. Приказала на балкон подать самовар, выставила на стол, так что пальца не просунешь, варений и солений, горделиво натащила в кресла груды новейших книг парижской печати, завела просить, чтоб прочел какую-нибудь из последних пьес.

- Перебелить все не собирусь никак, – отговаривался Пушкин. – Вот перепишут – тотчас и вышлю!

Чуть поднадулась Элизи, но отошла мгновенно, об ином шумно забеспокоилась.

- Ужаснейшая, говорят, Александр Сергеевич, холера нынче кругом стоит! Гораздо пуще всех прежних вспышек! Кажется, даже в Петербурге случаи имеются! Я прямо нос боюсь из дому показать.

[**PAGE 92**]

92

38

- Ну, разумеется, – поддержал ее Пушкин. – Подобный носик высунь попробуй – враз откусят, как не было.

По-девичьи густо зарумянилась Элиззи:

- Полно, ради бога! Вам бы только посмеяться!

- Напротив! Да, думается, не про меня вовсе и смех выдуман! – улыбнувшись, резко на французский перешел Александр Сергеевич. Его раздражали круглые крупные колени Елизаветы Михайловны; похожие на две детские головенки, они беспрестанно задирались друг на дружку под шелком ее подола. К тому же, и смеялась она слишком легко и часто: - Уверен, что куда лучше Сенковского всякий неловкий мозольный оператор насмешить способен, – стараясь видеть перед собой лишь скатерть, продолжал он. – Коли, понятное дело, прежде не поранит.

- "Ну, сызнова покатила!"

Брезгливо переждал Пушкин, чтоб отскрипели под хозяйкой кожей обитые кресла, попросил в сторону:

- Свеженького бы мне, Елизавета Михайловна! Чем люди-то живы?

Элиззи на слова эти только улыбнулась снисходительно. Чем живы? А вот извольте! У австрийского посланника журфикс поменялся; многие сим, ох как, недовольны, им, видите ли, это календарь недельный начисто рушит. При дворе меж фрейлинами обычный летний скандал: молоденькая госпожа С. – не сомневаюсь, знаете вы ее отменно – понесла; в отцы полгорода прочат. Графиня Борх, напротив, уж

[**PAGE 93**]

93

39

третий год замужем, а все неплодная смоковница. У графини Нессельрод, Марьи Дмитриевны – представляете! – нежный друг сердца обнаруживается! Да, кстати, у ней же в салоне на днях Михаил Павлович был. Говорят, шутить изволил прелюбезно: посереде бальной залы сел на пуфик верхом, вытянул к потолку руку и – помните, вероятно? – своим ужасным русским языком кричать стал: "Пади! Пади!"

- Так-так, он всегда недалек был. А к чему это?

- Вот и все спросили, к чему. А я, отвечает, как и брат мой венценосный сим бунты усмиряю и холеру пользую.

- Как это?

- А вы не знаете?

- Ни полслова.

- Да шум какой-то был на Сенной. Народ приставленных к нему лекарей в отравлении обвинил. Ну, конечно, немцев побили крепко, кой-кого даже и до смерти. Государь соизволил без кровопролития бунт сей решить. Лично явился и усмирил. Все на колени пали, молиться начали.

- Знатно! – И ловко не замечая чающих, как бы о чем соболезнующих глаз Элиззи, распрошался с ней Александр Сергеевич. Ему досадно было на то, что как ни поступи он – все перед Хитровой неправ выйдешь. Неотвязное чувство это спешить заставило. Он заехал в гостиницу, наскоро собрал негромоздкие весьма пожитки свои и к утру был уже в Царском.

[**PAGE 94**]

94

40

Умывшись с дороги, поймав Ташу и напившись вяжущего рот чаю, понял Пушкин, что верно рассчитал: места детские, лицейские более для него нежного покою, от зелени его никнувшей, в глаза не лезущей надежное безвременье в душу проникало, растило там сладкую, к труду близкую уверенность в незыблемости всего сущего. "Коли мир вокруг вечен, так и я в нем не зазря!" – просто думалось ему. И как всегда, когда накатывали подобные минуты, начал Александр Сергеевич от самого себя и от других таиться.

Только диву давалась Таша, как можно так подолгу в кабинете засиживаться; зачем нужно обязательнейшим образом обещать Жуковскому свое вечернее присутствие, а потом слать человека и по-школьничьи совсем отговариваться, что, мол, живот разболелся вдруг, ты уж, сделай милость, не сочти небрежением. Еще пугал ее осенней заоконной пустотой исполнившийся взор мужа; знала она – не замечает он жены своей; мимо ходит. А коли – случится – и заговорит – то лишь пустяком каким обмолвится. Хуже, чем с чужой! От того даже плакала тихомолком Таша, но молчала.

Александр же Сергеевич все ждал. Казалось еще немного и писать захочется. Пустела и крепла душа. Каждым днем уносилось из нее смятение впечатлений, навеянной и встречей с царем, и общим, большим в ожидании холеры, настроением. Оставалось от всего одна упругая, всему земному голодная, суть. Какие-то сны-не сны, – звонкие обрывки слов, многоцветные и подробные куски виденных и невиденных сцен,

[**PAGE 95**]

95

41

наяву мелькали в памяти. В речь, в поступки все сильнее просилась тонкая деловитость. Досаду вызывало лишь ожидание будущих, извне монархом указанных, исторических занятий. Их почему-то бояться начал Пушкин с недавних пор. "Какой к черту из меня историк! – думал он. – Строгость в мыслях последовательная тогда только и хороша, когда основывается на свободе воображения. Теперь садись Петра писать! Напиши попробуй, ежели исходить предложено из свидетельства особ близких ко двору, сообразуя дела минувшего с потребным нынешнему времени патриотическим вкусом!" Тут вместе и смешно и беспомощно становилось. Груды изъеденных червями подлинно исторических документов открывались взору. Молчала усердной вязью осьмнадцатого века испесчренная бумага. Строка за строкой нужно было ворошить немые свидетельства эти, чтоб узнать, что и в старину, совсем, как ныне, имели люди обыкновение за обедом плотно подзакусить, а ночью спать заваливались, чтоб ясным тебе стало, что крепость такая-то, не столько храбростью дедов, как обманом взятая у неприятеля, что при доследовании опасного всему государству заговора виновных было втрое меньше, нежели казенных, что о битве, от коей многие умы современные в исступлении сердца, как о краеугольном камне всех последующих событий толкуют, расторопные пращурьы наши в суматохе дел самоважнейших и позабыли вовсе, даже не поняли как-то, кем же она, собственно, и выиграна. "Добро ж! Понадобились – прочли и узнали! – грыз себе перо Александр Сергеевич. – Только

[**PAGE 96**]

96

42

позвольте спросить, что из всего этого именно историческое, одному Петровскому времени присущее? Или у нас ничего подобного ныне уж и не случается? В чем тут особенные черты времени? Все это всегда было свойственно человеку. Пора уж убедиться, что история не знает определенного времени; она вся – протяженное сегодня, видимое на разных уровнях, разными глазами. Взгляды же эти хронологией одной рзнятся. Так что непреложного ничего здесь и быть не может, ибо мыслью, скрепляющей его труд в единое целое, историк либо в себе, либо в нанимателе разживается. Проще сказать, история – всегда заказ или прихоть."

Вот коренной этой мысли покамест и не находил в себе Александр Сергеевич. Имелись просто намеки обрывистые, но все они только в стихи либо в прозу походили. Облеченные скупым, бережливо найденным словом, они вполне могли бы немалой силой заиграть; строить же из них что-нибудь, якобы всеобъемлющее и систематическое, как-то сердце не лежало. "Погожу, – с притворной покорностью вздыхал Пушкин, – авось, пыль архивная вразумит." Ему чаще всего приходил на ум анекдот о великом князе, сообщенный Елизаветой Михайловной. От него улыбалось славно. Всему рассказанному умела Элиззи влекущую туманность придать. Начнешь припоминать, казалось бы, сторонний случай, и, смотришь, полная знакомая улыбка сквозь чужие похождения проступает, колыхаясь живет на радушном теле, а в добрых безвольных губах соблазнительно простоватый бес проглядывает и откровенничает:

[**PAGE 97**]

97

43

вот, не молода я, баба, годами, однако ж... Стыдно темнело в глазах от этих воспоминаний. Отлично знал Александр Сергеевич, какую неистребимую, уж и осмеянную не раз склонность питает к нему его, более чем зрелая, поклонница. И хоть никогда не сторонился он порока, здесь беззащитно ему становилось от того, что все не понимал он, какую же ночную сторону души видит в нем Елизавета Михайловна. "Уж чересчур черт в ней и толст и добр! Сие особливо опасно! – ускользал подробностей Пушкин, чтоб еще раз насладиться дурно по-русски выговаривающим Михайлом Паловичем, которого отныне иначе себе и представить не мог, как только сидячим верхом на ковровом пуфике. "Отчаянный, однако, малый! Вот тут истинно параллель с Петром, державшим округ себя шутов целым штатом: он из царствования своего до пальясов снисходил, Николай Павлович их до себя подымает! Историческая примета. А что, бишь, он сидя кричал-то? Да – Пади! Пади! Это стало быть, о бунте на Сенном. Дьявольски как течет все! Никогда не угадаешь, куда выплеснет!" Ему припомнились слова Еспера Феофилактовича о том, что у бунтов и холеры миазма одинакова и происходит, обыкновенно, от чрезмерного скопления в одном месте людишек подлого звания. Расхохотался Александр Сергеевич. "А может, и прав чудной старикашка!" Удивительно, сколько ни читал Пушкин, пусть древних историков, пусть новейших, европейских, никогда в разумение взять не умел, от чего это у них так складно да ладно получается все. Случится, положим, волнение народное – непременно цель перед ним стоит: меж вельможными

[**PAGE 98**]

98

44

людьми смута заведется, так интересы их всякому уму доступны и рассудку не противоречат. На Руси же всегда обратно выходило. Каким смутным тяжким временем не займешься – один божий промысел в глаза бьет; характеры же тянут, кто в лес, кто по дрова! Хотя бы то же Борисово правление. Черт те что и черт те откуда: смутьяны в первую голову о наведении государственного порядка хлопочут, а мужи власть предержажшие – бунтуют, как холопы последние. Кажется, что в России надобно писать не историю государственности, как сделал то Карамзин, но историю бунта, ибо он лишь и есть держава наша и порядок наш. Тем паче, что – куда ни кинь – все выдает себя не за то, чем на деле является. Ну, добро, то в истории: Дмитрий – самозванец, Емелька – самозванец, княжна Тараканова – то ж; ну, а коли не взирать с угодливостью одной на скоропалительные выборы Романовых, так от Рюрика ли род их? Чем они лучше Долгоруковых? Чем не самозванцы? А? Опять выходит: то – не это, а это – не то! Прямотаки обязан каждый себя чем-то не похожим на натурального мнить! Будто уж без самозванства оного мы никто и ничто! Будто уж кроме самих себя и призвать-то нас некому? Выходит – да! Тот же Петр – тому ярчайший пример! Да мало ли... Нет, бы мне самому журналистикой одной и жить и хвастать, была бы вольному воля, так поди ж ты – и к свету боком тянись и в историографы тшусь... Приспеет ли когда мое лишь? А?

[**PAGE 99**]

Боялся иногда Александр Сергеевич ответов и грустно на лоскуток бумаги несколькими царапающими штрихами пера бутаду великого князя примостил. Полюбовался капельку, вспомнил, где живет – порвал тотчас. "Ну, к шуту от греха! И "Гавриилиады" довольно будет: не про нас еще смех выдуман!" Чтоб замышленное в голове попусту не мешалось, подкусывая кончик языка, нарезал Пушкин ворох равноразмерных листочков, пометил на каждом одним-двумя словами мысль, сунул в вазу на столе. Улыбнулся себе снисходительно: хоть что-то, а сделано и с привычным непрворством, рассчитывая лишь на дальнейшее полегчание, взялся за "Онегина" – там случались еще не ладно сидящие строки и слоги. Эту копотливую, никем никогда незамечаемую, чистку написанного особливо ценил Александр Сергеевич: точность и тяжкая прихотливость сего занятия славно споспешествовали в узде мозг держать. Ныне тому имелась нужда. Предчувствуя в воображении своем ток новых ключей и течений, дорого было Пушкину к чему-то сосредоточенному сердцем прикипеть, с самим собой лад завести...

Он долго еще в тот день перекладывал с места на место измаранные тетради, чего-то жег; чтоб вернее похерилось, отгибая перо большим пальцем, брызгал кой-куда кляксами. Время не досаждало, не было его около – забыл переворачивать свои песчаные часы Александр Сергеевич, и перестал прах служить человеку, застыл мерцающей сквозь стекло горсткой.

[**PAGE 100**]

100

46

А за стеной безумолчно то по хозяйству щебетала, то напевала о страсти нежной Таша. Казалось, во всем божьем мире тишина стоит.

10

Слов нет, как заботил Ташу предстоящий ее переезд из обжитого уже Царского в Петербург. "Еще бы, – приходило ей поминутно в голову, – ведь на меня одну все ложится! Подвод одних, почитай, штук тридцать нанять надобно! А присмотреть за всем, а наказывать каждому! Боженька мой, боженька, не оставь!" Только, сколько бы она не маялась, как бы не уставала, никому никогда не перепоручила бы она даже и самую пустую толику хлопот своих, а коли кто и предложил бы ей это, непременно обидел. "Вот как! – сделала бы тогда губками Таша, порхнула в гостиную и заперлась бы там надолго.

Без прямого соприкосновения с собой не понимала Таша существования и надобности окружающих ее предметов. Что не видел глаз, не настигала рука – пустотой оборачивалось. Та же квартира, положим, если не ходить по ней с утра до вечера, не пить чай в столовой, не вязать в диванной, не отчитывать кухарку в буфетной, – как понять, что твоя она, только и тебе по-настоящему принадлежит? Раньше все маменька собой застила, повсюду, если и не прямо собственной

[**PAGE 101**]

101

47

персоной, так весьма ощутимым духом маячила. Отвыкалось то. Теперь над Ташей никого, кажется, не было, и она не правила домом, но скорее – то там, то здесь – подчиненность пробовала: кому? как? когда? до каких пор? Правда, пальчики ее неловко еще хозяйство теребили, еще удачи от промашек не различала Наталья Николаевна, но это ее и не беспокоило. "Видно, боженькина такая воля! – объясняла она Александру Сергеевичу любую неурядицу свою и просила его непременно обить к Александрову дню все мебели штофом палевым. Если в ответ, держа глаза спокойные чуть сошуренными, кивал Пушкин и говорил быстро: "- Добро, душа моя, уже изготовлюсь!" – печалилась Таша: подобная угодливость – уж заметила то она – долгими переоткладываниями обычно сопровождалась и в никуда уходила. Нет, надобно было прежде заставить мужа задать несколько, пусть и бесполезных вовсе вопросов, тогда он, что-то запомнив, действительно, поспешить с обещанным постарается, и наполнится квартира суматохою перестановки.

Нынче не так все складывалось.

С утра до вечера неслышно было Александра Сергеевича.

Этому его настроению не доверяла Таша: "Все гораздо сложнее, чем он себе представляет!" ее теснил, оставленный ею среди мокрети майской Петербург; большой лягушкой скользкой грезился город; Таша, страсть не хотела сызнова селиться в трактире; ее подташнивало от того, что в коридоре

[**PAGE 102**]

102

48

уж точно половицы стонать будут, а с кухни понесет чадом. "Пушкин, – просила она, – поедем, миленький, лучше в Москву! Хорошо?" Однако, как ни верила Таша в предчувствия свои, волнения ее праздными оказались: то ли из желания сюрприза неожиданного, то ли остепеняться начиная, а достал таки Александр Сергеевич семье своей на петербургское житье-бытье премиленькую квартиру в Галерной улице. Прелесть, с каким вкусом обставлены были апартаменты! Чистым шелком поблескивая, гнулась в гостиной отборная мебель красного дерева; такую сияющей, такой высокой люстры никогда еще не видела Таша в жизни своей; а угольная комната, увеличенная обширным крытым балконом, хоры в зале московского благородного собрания напоминала! В ладошки хлопала Таша, ей кружиться хотелось беспрестанно! "Пушкин! – звенела она. – Ой, как люблю я тебя, Пушкин!" – И хоть в день приезда их то и дело прорывало с неба острым, как капель, дождем, напросилась пройтись. Перепоручив дозор хозяйский Никитушке Козлову, на Английскую набережную вывел жену Пушкин. Провал реки, мостовые по обе ее стороны – все полно было, не знающим направления ветром. Коротенький день чухонской осени плотно, как в ножны, в сумерки садился. Над Невой, над подгнившим гранитом оправы ее форменной путалась по небу пара приبلудных, синеватых чуть, тучек. Сквозь желтоватые, изъеденные непогодой облака, жадною горстью червонцев, проблескивало откуда-то солнце. Частыми колючими волнами щетинилось по течению дохлое рыбье тулово реки. Стоящий над всем простор

[**PAGE 103**]

103

49

был туг, словно парус, под ним и Академия художеств, и экипажи, и пешеходы – все одинаково дробным казалось.

- Зимний там? – тихо-тихо спросила Таша.

- Вовсе нет, – придерживая цилиндр, полой плаща махнул Александр Сергеевич. – Зимний у нас, что шпинат зелен. Видишь?

- Ой, Государь, значит, так и ездит вокруг него. Да?

- Государь вокруг каждого из нас ездит! – без улыбки заглянув в ее глаза, отвечал Пушкин. – На то божья воля!

- Ты не можешь, Пушкин, гадости не сказать! – вся сжалась Таша; ей вдруг разом стало холодно и неинтересно: - Домой меня отведи!

Как испуганная птица, заворотило с прямого пути своего легкое ее настроения. Хотелось только у камина скорее очутиться, сесть, подобрав под себя ноги, в кресло, смотреть на угли. Тому, что происходило в ней сейчас не могла найти названия Таша, у ней в мыслях и близко не было, что именно она должна защищать Николая Павловича от мужа: разумеется, – нет! Но какую бесплодную и злую душу нужно иметь, чтобы позволить себе подобный тон по отношению к лучшему из государей? Не слушая вовсе о чем толкует ей Александр Сергеевич, Таша даже ненароком боялась увидеть его сухое, к осени потемневшее лицо. "Изувер! – от времени до времени произносила она почти вслух и до тех пор, пока не пришли раздевать ее на ночь, не расставалась с этим

[**PAGE 104**]

104

50

словом; впрочем, с ним же и спать легла. И только увидев во сне белые на белом атласе каллы, простила все, отпустила в клубок подтянутое тело, забылась.

Утром от досады и от Пушкина – чем свет отбившего по своим делам куда-то – и следа не осталось. Все на свои места растеснилось: высился в воображении Николай Павлович блестящей исполинской фигурой, забавно прыгал у ботфорт его, скорый на ужимки Александр Сергеевич в матовом потертом сюртуке. Улыбаясь обоим им, Таша то так, то сяк прикидывала полог постельный. Нет, – криво и криво. Задумчивости тихой полна, прошла она в угольную комнату, рассеянно скользнула взглядом по мостовой, зримой разом из трех стекол, - ахнула: у подъезда их стояла четверней запряженная карета тетки Екатерины Ивановны. Самое Загряжскую дорожный лакей уже к дверям подводил. "Боженька! – закружило Наталью Николаевну, - спасибо добрый мой!" Куда посадить, чем угощать, как приласкать – все от восторга растеряла Таша: из одной радости зажила душа ее.

Умного и доброго сердца было с излишком и у Екатерины Ивановны: тетка с племянницей наглядеться друг на дружку не могли. То смеяться частили с объятиями, что лишь в платье путались; со стороны могло прийти в голову – это разноплеменницы встретились и без толмача и не понять им меж собой ничего.

Однако, сами не ведая как, объяснились таки.

И как сквозь навязчиво и мило смежающий веки луч солнца розовый, помнила Таша, что все нельзя было узнать, который же час течет; кажется только вот пили кофий в свежепротопленной

[**PAGE 105**]

105

51

гостиной, а уж зачем-то одета она по-вечернему, и Екатерина Ивановна, с себя снявши, вяжет на шею ее нитку холодного жемчуга; кажется, мгновение назад гроыхала вокруг улежистая, цветами пропахшая карета, а уж надо присесть перед высокой, в лиловом бархате, дамой, смотреть, смущаясь блеском зеркал, в ее оплывшую темным пушком верхнюю губу, сообщать о себе очевидное, поминать к чему-то Пушкина, искать локтем, чтоб не заблудиться в прихотливой анфиладе зал и жарком от бесчисленных кенкеток чередовании лестниц, мягкую руку тетки...

...Лакеи. Швейцар близ темного проема двери. Прямо в лицо мокрая лапа нахального ветра. Опять карета...

- Ну, слава, тебе господи, – успокаивает, то ли горлом поскрипывая, то ли сидением, Екатерина Ивановна. – Приласкала графинюшка! Приветила.

Ничего не понимает Таша, что-то спрашивает, смеясь и досадуя на себя за московскую бестолковость.

- Мария Дмитриевна Нессельрод, – поясняет тетка, – у нас в Петербурге, что глас божий!

Не прекращая грохота и скрежета, как вкопанная, становится карета. Выходить надо. Снова ветер. Провал двери. На этот раз – в свет. Швейцар. Лакеи. Теснящее щеки тепло.

От лестницы, от перил ее мраморных, чуть осязаемо, фиалками пахнет.

[**PAGE 106**]

106

52

- Аничков! – не поспевая раскланиваясь, подсказывает Таше снисходительно радушно Мария Дмитриевна, а Загряжская, улыбаясь подернутыми слезой глазами кивает и жмет руку: Бог с тобой, девочка моя!

- Государь будет? – обрывается у Таши на губах и без того короткий вопрос.

В ответ на ней округло, в упор, останавливаются карие глаза молодого офицера, он смотрит подробно, медленно, как смотрел бы и в очередной приказ по полку, где боязно пропустить даже буквицу малую, даже запятую. То что, как бы ни искал он взглядом, а повсюду находит взор его Таша и топит тотчас в своем, верно, нравится ему. Его бледное лицо в смоляных бакенбардах улыбается. От пережитого усилия Таша краснеет. Ей и без того трудно. Едва-едва умудряется она в толпе влекущихся единым потоком гостей, отыскивать свой путь. – Тот, где походка ее медлительна и неестественно грациозна; тот, где и Нессельрод и тетка рядом.

Мария Дмитриевна величественно кутает шалью свои широкие, квадратные плечи. Таше не надо прислушиваться, она по губам понимает, обращенную к ней похвалу графини: "- Афродита стыдливая!" – и соглашается. Ей, действительно, робеется: в впопыхах сборов она не проследила как следует, надежно ли укреплены горничной нижние юбки. – Вдруг?! Но – чем бы ни щемило сердце – Загряжская подле. "Танта любимая, родная! Ты для меня – все!"

[**PAGE 107**]

107

53

Заметно посвежело в воздухе. "Бальная зала!" – чуткими плечами своими прежде глаз почуявшими приближение простора, угадала Таша и переступила расцветкой лишь выделенный порог. Оркестр уже настраивался. Гуще запах духов и пудры. Екатерина Ивановна шепчет: "Это каждой должно пройти! Я с тобой!" Почти не отрывая от пола каблуков, скользя на подошвах, подходят они к скромно одетой женщине, окруженной величественными – и лицом, и статью – военными. Глаза у этой женщины невыразимо лучисты и добры. Кажется, никого из входящих в залу не пропускают они: каждому улыбнутся, каждому дадут поддержку. От приступающей под сердце крови, Таша плохо видит и слышит. С угловатым изяществом подав свое тело вперед, графиня Мария Дмитриевна что-то говорит этой женщине. Загряжская, не выпуская Ташиных пальчиков из своих, низко приседает. Таша делает то же. Беспреданно улыбаясь, скромно одетая женщина касается губами лба в поклоне склонившейся Таши. У Таши так пусто становится в груди, что с минуту она не может разогнуться. "- Дитя мое, вы не должны ни о чем беспокоиться, – нисколько не стесняясь густым своим голосом, произносит Нессельрод: - Императрица изволила остаться о вас самого лучшего мнения! Ведь я правду говорю, ваше величество?"

- Да, – нежно соглашается та. – Натали подлинный цветок нашего туманного Севера. Скорее даже душа его. Психея!

[**PAGE 108**]

108

54

Екатерина Ивановна еще раз приседает, а Таша, пылая всем телом и задыхаясь от стука собственного сердца, осмеливается на благодарность.

- Не смейте же стоять без дела, – шутливо укоряют ее ласковые глаза Александры Федоровны. – Вы, должно быть, прекрасно танцуете!

"Как она умна! – думает Таша, не замечая того, что сыгран уже первый, открывший бал танец, и что с того момента, где очутились теперь они не видно ни императрицы, ни ее окружения. – Боже, как умна!" Ей становится жалко надменно неуклюжую Нессельрод, сказавшую ей, там внизу: Афродита стыдливая! "Фи, – смело улыбается Таша, уверясь, что ладно и плотно сидит все на ней. – Афродита! Нет, одна государыня могла это заметить – Психея!" Есть в этом слове что-то блестящее, как музыка: Психея!

- Девочка моя, – тревожится о племяннице Загряжская, – тебе непременно надо что-либо прохладительно выпить!

Таша немедленно соглашается и тотчас же теряет разницу, что холоднее было: узкий ли, запотевший бокал или широкий веер музыки, павший с хор? Все кружится перед глазами, и в груди сердце повторяет круги эти. Где Загряжская? Где Нессельрод? Все в одно слилось и, вместе с тем, разделилось на положенные польским фигуры. Затянутые в прохладный блеск колонны – стеклянное чернение

[**PAGE 109**]

109

55

окон – кружащаяся под потолком люстра – не поспевающие за музыкой бра – пары – пары – пары... Боже, это прекраснее любого сна. Только из опаски греха и назвала Таша состояние свое райским.

Пришла в себя, начала различать, где верх, где низ Таша только по пути домой. Отвозила ее сама графиня Мария Дмитриевна Нессельрод. На ее то наставительные, то увещательные замечания о прошедшем бале лишь ахала Таша. Сама же думала: "Пушкин! Вот приедем – все ему расскажу!" Так много выпало ей нынче радости, что не поделить не по-божески было. Терпенья не хватало! Наконец, доехали. Не успела карета толком остановиться, широко распахнулась дверца. Замерла, привставшая было Таша. Подсвечивая себе из прыгающей в руке плошки, прямо в глаза ей глядел Александр Сергеевич. Кажется, впервые обратила Таша внимание на то, как действительно безобразен ее муж. Под сведенным глубокими морщинами лбом, яро жгли два небольших совершенно неподвижных глаза, губы дергали левый угол рта книзу и судорожно выворачивались... Чтобы не закричать, зажмурилась Таша.

Мария Дмитриевна, ничего не приметив, сильно взяла ее под локоток и направила ступить на первую ступеньку.

- Я, Пушкин, только что в Аничковом на бале была, – вися над мужем в пустоте и боясь найти опору, сколько могла громче, произнесла Таша.

[**PAGE 110**]

110

56

- Так это, милая, и есть ваш муж? – полюбопытствовала из кареты графиня.

Александр Сергеевич мигом перехватил Ташу на плечо, тотчас же отставил ее на добрую сажень в сторону и чуть ли не под самые ноги Нессельрод сунул свой огарок:

- Вот, стало быть, кто передо мной!

- В обращении к незнакомым дамам обычно принято более вежливости употреблять! – низко и спокойно отвечала ему Мария Дмитриевна. – Поведением своим вы не себя, разумеется, а жену свою позорите!

- Я понял вас! – голос Пушкина теньше стал. – Не возбуждая сами по себе ни в ком интереса и похоти, вы стараетесь их с помощью одушевленных украшений искать? Так?!

- Пушкин же, – робко, но нетерпеливо позвала Таша. – Пушкин, ну, холодно мне!

- Я не позволю, сударыня, – не слышал ее Александр Сергеевич, – не позволю, чтоб жена моя бывала там, куда я не зван!

Таша не поняла, что еще такое по-русски вслед тронувшейся карете прокричал Пушкин. Начавшийся озноб успокоил ее; ей все стало безразлично. "Нет, ничего я ему не скажу, - думала она о муже. – Никогда-никогда!"

[**PAGE 111**]

111

ВАДИМ НЕЧАЕВ

Из литературного архива,
включающего последние 10 лет работы.

ЛЕТНИЙ ОТПУСК ХУДОЖНИКА

А что было вчера? – думал он, идя вдоль залива. Вечерний теплый час, матовый ободок луны, чайки в пятидесяти метрах от берега, фланирующие курортники: компании из домов отдыха – в пиджаках и плащах /днем они играют в домино, потом скинемся на троих, вечером гуляют здесь и рассказывают, кто где живет и чей город лучше/, за ними богатые рижские семьи с детьми и нежные парочки. Он шел один по этому благословенному взморью, по утрамбованному песку. Справа море, лунный сентиментальный свет, всплески и смех купальщиц, слева темно-синие сосны, дома, кабинки, пустые скамейки и запертые сейчас павильоны, где только что лились музыка и вино и где сидели мужчины, у которых всегда есть деньги, и с ними были, как обычно, красивые женщины...

Он приехал сюда десять дней назад; получил вдруг премию за оформление стенда, поспорил с женой, что едет один, и примчался. Ему не пофартило: был шторм и пляж был

[**PAGE 112**]

почти пуст, редкие фигурки лежали на раскладушках, завернувшись в одеяла. Как-то бродя на солнце и ветру возле моря и думая, где же все-таки она – красивая жизнь, он завернул в городок преферансистов за небольшим холмом, там было несколько самодельных столиков и там образовалась своего рода колония. Он заглянул туда и остался... на все десять дней.

С утра он приходил и ждал кого-нибудь из партнеров. Ждал спокойно, даже как-то тупо, а внутри уже накопал азарт, и он чувствовал приближение лихорадки.

Он играл по крупной, не потому что был богат или жаден, а скорее наоборот, потому что в такой игре был риск, взлет и падение, пахло судьбой. Рождалась иллюзия событий и приключений, а после – горечь и пустота, но к утру пустота заполнялась острым ожиданием.

Приходил Софочка: "привет, шалопаи", маленький плешивый человек в кургузом пиджаке, который он не снимал с плеча даже в полную жару, учитель физкультуры в школе. Появлялся Коля, сценарист из Душанбе, сорокалетний меланхолический еврей неизвестной национальности по паспорту, затем денди Гарри, похожий на римского патриция, модельер мужской обуви в ателье, его друг и вечный должник Саша-юрист, известный тем, что он отсидел когда-то срок, но об этом он предпочитал помалкивать. Еще бродяга Насреддин, торговый работник. И напоследок – два мэтра, игроки высокого полета – Абрам Исаакович и Исаак Абрамович.

[**PAGE 113**]

Разбивались на четверки, усаживались за столы. Чертили пульку на листе ватмана, легкий озноб, страх и надежда, что карта пойдет. Начиналась раздача, и весь мир сосредоточивался в пределах этого стола, мелькания рук и редких фраз, звучащих, словно какой-то шифр. – "Пас." – "Нет, это я пас." – "Пика." – "Трефа." – "Бубна." – "Черва." – "Мизер." – "Нет входа, не вистуй." – "Напиши на гору."

Лица исчезали, были только партнеры, подчиненные главному персонажу – игре. Десять дней он то выигрывал, то проигрывал, но проигрывал больше – за весну он потерял форму и снизился в классе. Сегодня он проигрался ужасно – в пух и прах.

Он пришел чуть позже, игра была в разгаре, возле столика торчали зрителями денди Гарри и юрист Саша с лицом то ли преступника, то ли ковбоя. Они пригласили его в пульку. Он помялся, но уступил. Они уговорили его играть с "бомбами" и "темными". Он, как говорится, попал в "слам". Никакого мухлежа не было, ни подтасовок, ни съемок, но карта шла к ним, а ему не шла, и они его, так сказать, раздели. Ему стыдно было смотреть им в глаза, и когда подошло время расплаты, он вздохнул даже с облегчением. Он в результате проиграл оставшиеся четыре дня отпуска и должен завтра вылетать. И теперь он шел по берегу, уже чужой, почти на отлете. И был немного рад тому, что расстается с этой курортной жизнью, с этими ленивыми вечноголодными чайками, с этими павильонами и стариком-фотографом

[**PAGE 114**]

114

4

с игрушечной яхтой и прочим его реквизитом.

Он остановился. В песке была вылеплена скульптура. Друг против друга конь и маленькая стройная женщина. Их души стремились вырваться из земли, но тела были прочно утоплены в ней. "Вот и я тоже..." – подумал он и вспомнил вчерашний вечер.

Все было таким же, как сегодня, но вчера он встретил женщину. Он пригласил ее в ресторан. Ей было 25 лет, экстравагантна, прямой нос, четко очерченный рот, резкий голос, замужем и даже есть ребенок, но в ней ни капли от семейной женщины /или так держится/, журналистка, поклонница муз, и неизвестно, чего хочет: любви, курортного романа или знакомства с интересным человеком, знакомства ни к чему не обязывающего.

Ее звали Лиза Рыскина.

Она прочла стихи Блока и спросила, кто их написал.

- Не знаю.

- Восхитительно, – чуть не заплакала Лиза Рыскина.

Она прочла стихи Есенина и спросила, кто автор.

- Не знаю.

Она пришла в еще больший восторг и прочитала стихи Горбовского.

- Это мой сосед, – сказал он.

Тогда Лиза Рыскина поделилась с ним своей биографией.

Она сообщила, что живет в Горьком, что муж ее преподаватель

[**PAGE 115**]

115

5

исторического материализма, и она надеется, что они весело проведут время.

- Конечно, – сказал он.

- Давайте потанцуем, – предложила Лиза.

Когда они вернулись к столику, оказалось, что к ним подсела одна пара. Это был тридцатилетний майор в штатском и его жена. Они все познакомились, стали пить, и майор задал поистине майорский темп.

Они поговорили о том, о сем. Сколько было убито во второй мировой войне и сколько погибает сейчас людей в автомобильных катастрофах.

Майор задумался и сказал, что жаль Иосифа Виссарионовича, который умер слишком рано.

- Почему же? – спросил он.

- Тогда было все ясно, – сказал майор, – кто наш, а кто не наш.

Он возразил: не исключено, что майор сидел бы в данную минуту не с ними, а там – для пояснения он наложил два пальца на два пальца, изобразив решетку.

- Как вас зовут? – спросил майор.

- Я человек без имени.

- Не бойтесь, – сказал майор, – я сейчас в отпуску.

- Я неизвестный художник.

- У каждого человека есть имя и фамилия, место работы и место прописки.

- Его зовут Свет, – сказала Лиза Рыскина и на всякий случай улыбнулась.

[**PAGE 116**]

- Остальное меня не интересует, – сказал майор. – Только зачем обижать великого человека.

Он рассчитался с официантом, кивнул им в знак прощания и повел свою жену к выходу, где на улице возле ресторана стояла его черная волга.

Так смутно помнилось это вчера. Из-за чего они в дым разругались? Попробуй пойми. И повода-то особого не было. Они долго шли по каким-то сумеречным аллеям в глубину парка. Наконец, увидели каменный дом с темными окнами и зажженным фонарем у входа. Перед домом был стол и скамейка, а дальше кусты и там чья-то машина. Они сели на скамейку. И тогда он понял, что пьян вдрызг. Но игру следовало вести до конца, хотя и не хотелось. Он посадил ее на стол и обнял ее колени. Она позволила ему гладить себя. В желтом электрическом тумане он ласкал ее ноги, но закон игры требовал от него дальнейших действий. Понимая всю их никчемность, он опрокинул ее навзничь на стол и попытался раздеть. Она вдруг яростно стала сопротивляться. "Не буду, не буду, – сказал он покорно, – мне ничего от тебя не надо. Я очень устал. Можно, я посплю полчаса." Он растянулся на скамье, положив голову ей на колени, и тотчас успокоенный заснул, как будто только это ему и надо было: услышать нежность и доброту ее тела. Потом она стала его тормошить, а он никак не мог проснуться, она начала злиться, а он все спал, и тогда она ударила его по щеке и крикнула "Подонок". Он вскочил на ноги, удивился,

[**PAGE 117**]

117

7

обиделся, и тут они разругались. Он сказал ей, чтоб она скорей возвращалась в свою лимонадную жизнь, читала Блока, поила водкой всяких сопляков и восхищалась своим мужем. Она повернулась и пошла по дорожке, высокая, прямая, запрокинув голову, сжимая и разжимая кулаки от ярости.

Господи, зачем ему это надо было. Так прекрасно жилось без женщин все эти десять дней, без волнений. Ведь он от нее ничего не хотел, глоток тепла и доброты, всего-навсего. Как теперь домой ехать с этим мусором в душе.

Он ослепительно – в прозрении – увидел свою жизнь, ту жизнь, которая когда-то, давным-давно, казалась ему убегающим вдоль полем, полем любви, открытий, путешествий и нескончаемой юности... Он пропустил, наверное, тот летучий миг, пробежал, проглядел, как это поле стало округляться, таять по краям, стискиваться, ограничиваться, пока не превратилось в маленькую сверкающую точку, словно острие копья. На этом узком пространстве он жил со своими тридцатью годами, ссорами, пьянками, безнадежностью и преданностью картинам, которые ни разу не выставлялись – их покупали только редкие ценители живописи; на острие копья вместе с ним обитали: отец, добрый, уставший человек, который через все испытания вынес одну заповедь – *выжить*, чего бы это ему не стоило, но чего это ему стоило, каких потерь, каких утрат, душевных ампутаций, он никогда не судил и читал в основном биографии великих

[**PAGE 118**]

людей, так, во времена Сервантеса читали рыцарские романы; мать, орденоносец войны, вместо левой ноги протез, через край бьющая энергия, лекции в обществе "Знание", два раза в неделю плавательный бассейн, красавец-любовник в образе капитана летных частей с орлиным носом и белозубой улыбкой /зубы вставные/, однажды Свет, его мать и капитан лихо провели вечер в Поплавке, жена, маленькая, изящная, черные локоны, высокие мечты, вспыльчивость, ревность, обманутые надежды /ждала принца, а получила красная и неудачника/; сюда, на острие копья, укладывались его работа на заводе, где он писал плакаты и лозунги, чтобы заработать на хлеб, кафе-мороженое, куда он ходил по вечерам с женой, кухня, где он встречался с родителями за обедом, и разные квартиры, в которых он выпивал с приятелями или случайными приятельницами.

И вот копье накренилось, и он почувствовал в испуге, что соскальзывает с него в пустоту, что он сейчас упадет в эту вафельную волну, захлебнется, и она его подкинет и бросит лицом о дно, прoderет о песок и поволочет, поволочет в черную глубину.

В мольбе он протянул к ним руки, чтоб кто-нибудь кинулся ему на помощь, схватился его и удержал своей любовью, но они медленно пролетали, неощутимые, над землей, мимо, мимо, скользя по нему взглядом и словно бы не видя. Отец спешил почитать Плутарха, мать торопилась на свидание, жена тоже куда-то бежала, а друзья опаздывали

[**PAGE 119**]

на телевизор, чтоб посмотреть встречу сборных команд по футболу на первенство мира. Он бежал за ними вслед по берегу, бежал от кипящей волны, сам не зная, за кем, потому что уже давно он стал для всех посторонним.

...Он заметил это в себе только месяца два назад. Он приехал на день рождения двоюродного брата, университетского преподавателя. На четвертом этаже в однокомнатной квартире во втором часу белой ночи, будучи пьян и не пьян, он стоял один у распахнутого окна, из которого открывался вид на пустырь, новые стандартные дома и гнилое небо. За спиной, полупьяное общество, брат, его друзья, жена, сумбур речей, фраз, слова, как молоток, били его по затылку: "искусство, спорт, политика, нелюбовь, власть, водородная бомба, китай, сша, гана", тасуй их словно карты, что от этого изменится. "*Тошно жить*".

Он стоял, покачиваясь у окна. Надо сию минуту выпрыгнуть отсюда. Но если идти к вешалке и натягивать на себя пальто, все равно незамеченным не ускользнешь: всполошатся, окружают, будут уговаривать, хватать за рукава и придется что-то объяснять, оправдываться, что раньше всех, что завтра на работу, а сил на это никаких и глупо что-то объяснять. Уйти через окно? Уйти сразу и навсегда. Но куда? На этот асфальт с грязными лужами? Секунды сладкого полета, и кровь, асфальт, скорая помощь, отрезвевшие лица вокруг, его живой человеческий глаз снизу, с земли смотрит на них, отсутствие боли, неловкость и стыд, и вечер

[**PAGE 120**]

120

10

испорчен, и, конечно же, он снова в плену у них. Стоя у окна, он подумал: "И пошло умирать..." – "Вот когда я был в Югославии", – услышал он голос доцента, стремглав выбежал на улицу и там его вырвало. И побежал дальше.

Очнулся он у вокзала. Безлюдный перрон, сомкнутый строй деревьев по ту сторону рельс, деревянная станция, фонари, вверху серп месяца. Две тени бежали, то позади, то впереди, не отступаясь от него – тень электрическая и тень лунная.

Бог сделал человека подобным тени: кто сможет судить о ней, когда с заходом солнца она исчезнет.

Но ведь и Бог давно умер, подумал он, перейдя насыпь. Рельсы убегали в незнакомую даль, и он пошел вдоль них. Вскоре и станция и перрон скрылись из вида. Он встал на колени, оперся на локти и прислонился щекой к рельсу. Железный холод проник, словно яд, в ухо и спустился к сердцу. В голове произошло в некотором роде затмение. Он еще только примерился, но отчаяние и мука самовольной смерти уже охватили его помутневшее сознание.

- Эй, вы что тут делаете? – стегнул его грубый окрик. Он приподнялся, встал, пошатываясь, туманно разглядел человека в железнодорожной форме.

- Да вот, – сказал он, запинаясь, – как рельсы гудят, слушаю.

- Освободите путь, сейчас электричка подойдет... Вы в своем уме?

[**PAGE 121**]

121

11

- Конечно, – он виновато улыбнулся. – Я просто гулял, понимаете, вспомнил, как в детстве слушал рельсы, - он развел руками. – Я не знал, что электричка.

- А кто бы за вас отвечал? – пожилой железнодорожник укоризненно покачал головой. – Добро хоть, что я оказался невдалече. Не случись так...

- Я сам.

- Чушь собачья... Сам... У нас каждый за кого-нибудь отвечает. Я отвечаю за исправность путей и за тех, кто шляется в неурочное время. За меня отвечает мой начальник, за него отвечает его начальник и так далее... Это же вам не игрушки, а железная дорога. Вот бы легли шас на рельсы, если не я, что было бы? Машинист, ясное дело, нажал бы на тормоза, но поезд ведь на скаку не остановишь. Он бы переехал вас поперек, все бы повыскакивали из вагонов, график бы нарушился, а на другой день, глянь, кто-нибудь бы и соблазнился вашим примером...

- А что если за каждым из нас гонится поезд, – сказал Свет. – Так не лучше ли не убегать от него из года в год, а пойти ему навстречу, смело пойти навстречу.

- Вы шас малость не того, – сказал железнодорожник и покрутил пальцем у виска. – Но ежели б и так, что с того? Весь секрет в том, чтоб это поезд не замечать и не принимать его в расчет. И вы проживете вполне нормальную жизнь.

- Но я ведь заметил этот поезд.

[**PAGE 122**]

122

12

- Стойте на месте, говорю вам, и делайте свое дело. Хоть бы ради тех, кого вы любите.

- Я никого не люблю.

- Во брехня... – рассердился железнодорожник. – Нешто есть такой закаменелый человек. Вы свою память, обыщите и, провалитесь мне сквозь землю, если не найдете... Пойдемте со мной отсюда, подальше от греха, я отведу вас в сквер, вы посидите там, подумаете и вспомните человека, которого вы любите...

В сквере тихом, сумрачном, сидя на скамейке, он углубился в свою память. Он перебрал всех, кого знал теперь и с кем знался, но любви ни к кому не услышал. Она была когда-то, но со временем постепенно и незаметно она испарилась, высохла, как стоящее озеро без притока свежих вод. Он оставил их и пошел назад, в прошлое, в чашу лиц, это было движение назад и вниз по спирали, кругами, туда, где струился самый яркий свет, свет его юности. Университетская набережная, лодочные прогулки, сборища в мастерской художника, его обступили прекрасные, одушевленные лица, свежие голоса, ирония, свобода мыслей, но все это, он знал, давно растворилось в пространстве, а лица окаменели от неудач, затвердели в бедности, изменах, водке, и он, слегка согревшись, спланировал еще ниже – в детство. Школьные коридоры, парты с надписями ножом: "Свет + Вера = ". "Свет-дурак", каток, драки, романы Дюма, но и там он ничего не нашел, кроме глухого одиночества, обид, вечной настороженности и презрения к учителям. Он вынырнул

[**PAGE 123**]

123

13

из школы и перенесся в свой двор, в ту пору, где ему было 7 лет. Он увидел лицо соседа и дальнего родственника Ивана Захарова, увидел, словно в бинокль.

Иван был хронически без денег, добр, мал ростом, неказист, теперь это ясно, по профессии столяр, кому надо сделать полочку, кому столик, пожалуйста, пропадал в пивной с бывшими фронтовиками, уезжал один на рыбалку, имел сварливую толстую жену, которая изменяла ему налево и направо, а он и виду не подавал, еще кучу детишек, души в них не чаял, он был всеми любим, несчастен, весел, хоть более нищего чем он, с огнем не сыщешь во всей дворовой округе, и как ни странно, позднее, когда он умер, все поняли, что он был единственный святой в их жизни. Свет вырос, и тоже, хоть с запозданием, полюбил его, и вспомнив и его доброту и щедрость, в мыслях назвал святым, но смерть и дистанция времени лишали эту любовь плоти.

Итак, душа его облетав, как ночная птица, круги жизни, вернулась обратно в сквер. Но он опять услал ее на поиски, и она вновь исчезла. Спустя время из темноты сквера проступили три стены, а четвертой не было, как на сцене. Комната, письменный стол, торшер, за креслом старик. Такой милый старик, он склонился над листами бумаги, лоб его нахмурен, в глазах участие и боль, рука сухая сжала перо и перо бежит по бумаге. Он пишет письма. Пишет в пользу тех, кто потерпел бедствие. Он пишет без особой надежды на успех, но он не сдается.

[**PAGE 124**]

124

14

Хороший старик, сказал Свет, пригласи меня в гости, и я прилечу. Пригласи меня, пожалуйста к себе, потому что мне некуда пойти. Потому что я люблю тебя, хоть и в глаза не видел. Я бы хотел тебе это сказать.

На следующий день он вернулся в свою прежнюю жизнь на острие копья с намерением, если удастся, снова полюбить всех тех, с кем он был связан одной веревочкой, и, может, тогда что-нибудь да изменится.

1967 год.

[**PAGE 125**]

125

Л. А. Рудкевич

ВОЗРАСТ И ТВОРЧЕСТВО

С момента становления человека и до середины прошлого века люди пожилого и старческого возраста безусловно занимали в обществе доминирующее положение. Они преобладали среди правителей, судей, клерикальных лидеров и т. д. Например, в Афинский Ареопаг мог быть избран человек не моложе 60 лет. Опыт, житейская мудрость, постоянство и даже в определенной степени консерватизм пожилого человека всегда рассматривались как положительные, ценные качества. В последние годы отношение к старым людям кардинально изменилось. Частая смена оборудования пожилых рабочих, научно-технический прогресс вынуждает пожилых инженеров и ученых переучиваться, приобретать современные знания.

Представление о пожилом человеке, как о седовласом мудреце, обремененном познаниями в науке и житейским опытом, развеялось, как дым, когда на него повеяло ветром научных исследований. Беспристрастные исследователи, изучавшие интеллект, личность, способность к творчеству у лиц различного возраста, получили данные, отнюдь не лестные для старых людей. Связь старости и мудрости уже перестала восприниматься, как нечто само собой разумеющееся.

Ускоренные темпы, с которыми развивались эти знания, можно проиллюстрировать на примере высказываний трех

[**PAGE 126**]

126

2

известных ученых Великобритании. В конце прошлого столетия выдающийся английский биолог и психолог, основоположник евгеники Френсис Гальтон писал, что "возраст от 25 до 40 лет, вероятно, наиболее благоприятен для умственной работы.

"Возьмем всю совокупность достижений, сделанных в науке, искусстве, литературе, вычтем из них работы, созданные после 40 лет и когда мы потеряем эти великие богатства, ...мы окажемся все же на том самом месте, на котором мы стоим сегодня", – писал в начале нашего столетия выдающийся соотечественник Гальтона, Нобелевский лауреат в области медицины Уильям Ослер.

"По-видимому, нужно поточнее определить прилагательное "пожилой". В физике, математике, астронавтике оно относится к возрасту старше тридцати лет, в других науках старческое слабоумие наступает иногда после сорока. Существуют, конечно, блистательные исключения, но, как известно любому исследователю, едва переступившему порог колледжа, ученые старше пятидесяти лет годятся только для заседаний научных советов, а от лаборатории их надо всеми силами держать подальше!" – последнее высказывание, сделанное известным современным английским астрономом и писателем Артуром Кларком, вероятно, отражает отношение к старым людям в наши дни.

[**PAGE 127**]

127

3

Негативное отношение к пожилым в науке не ограничивалось декларациями. Президент 108 съезда Американского химического общества, состоявшегося в 1944 г. В Нью-Йорке Томас Мидгли в своем президентском адресе заявил "Молодые оригинальны и способны к творчеству, старые же обладают только опытом". В связи с этим ученый предложил увеличить число молодежи в рядах ученых, создавать им преимущество в трудоустройстве.

Первые работы, посвященные этой проблеме, появились еще в 19 веке. Английский ученый Боард в 1874 году, исследовав достижение 1000 знаменитых ученых и деятелей искусства, ввел следующую классификацию их жизни по десятилетиям:

Золотая декада - от 30 до 40 лет.

Серебряная декада - от 40 до 50 лет.

Бронзовая декада - от 20 до 30 лет.

Железная декада - от 50 до 60 лет.

Оловянная декада - от 60 до 70 лет.

Деревянная декада - от 70 до 80 лет.

В начале 20 века важный вклад в проблему соотношения возраста и продуктивности внес выдающийся немецкий ученый Оствальд. Проведя анализ биографий шести крупных ученых /Дэви, Либих, Жерар, Фарадей, Майер, Гольц/, он пришел к выводу, что вскоре после "Звездного

[**PAGE 128**]

128

4

часа" ученые "используются", теряют способность создавать концепции и сочинения, соизмеримые с более ранними их достижениями. Главное же, они не в состоянии претерпеть необходимый внутренний поворот в возрасте, "когда уже наступает неизбежное старческое притупление мыслительного аппарата". "...За редким исключением, наиболее выдающиеся достижения, имеющие революционный характер в науке, рождаются на третьем десятилетии жизни". /В. Освальд, Великие люди. СПб, 1910, с. 94/. Основной вывод исследований Освальда заключается в том, что мужество и убежденность молодого человека превышают ценность опыта, приобретаемого в среднем и пожилом возрасте.

Наиболее широко проблема возрастной ценности творческой продуктивности стало обсуждаться в американской литературе с 20-х годов нашего столетия. При этом наибольшую популярность во всем мире приобрели исследования профессора университета штата Огайо /точнее, заслуженного профессора в отставке/ Г. Лимана.

Изыскания Лимана были методически несложны, но в то же время чрезвычайно громоздки и трудоемки. К примеру, для того, чтобы построить кривую изменения с возрастом творческой продуктивности в области химии, Лиман проработал 20 монографий по истории и выделил из них 244 ученых, сделавших 993 наиболее выдающихся открытий в этой области.

Критерием, по которому открытие расценивалось как наиболее выдающееся, была частота упоминаний о нем в монографиях /не менее 18 из упомянутых 20 авторов должны были упомянуть данное открытие на страницах своих монографий/.

После этого Лиман оценивал продукцию ученых отдельно для каждого возраста, и на основе полученных данных строил кривую или чистогамму.

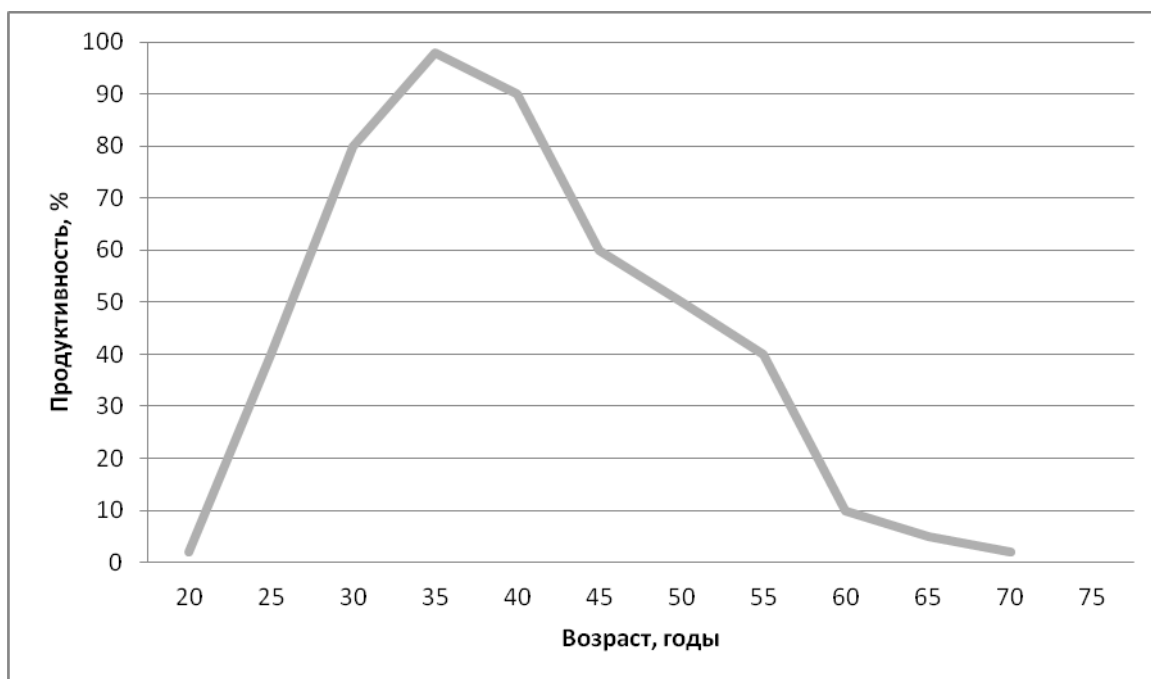


Рис. 1. Соотношение возраста и достижений в области химии. График основан на 993 значительных вкладах, сделанных 244 химиками в течение жизни

/по Лиману/.

На рис. 1 хорошо виден "пик" – период наивысшей творческой активности, которая у химиков приходится на

[**PAGE 130**]

130

6

возраст 30-35 лет. После периода акме наблюдается спад, так что 45-летний ученый имеет в 2 раза меньше шансов сделать выдающееся открытие, чем 30-35-летний. К 70 годам его шансы снижаются практически до нуля.

Перечень специальностей, использованных Лиманом для оценки продуктивности в возрастном аспекте насчитывает несколько десятков /отсюда ясно, почему при использовании методики, изложенной выше работы заняло у него более 30 лет/. Математики, физики, изобретатели, фармакологи, поэты, сочинители инструментальной музыки, живописи и др. создают по данным Лимана, свои "[1]" чаще всего, как и химики, в возрасте 30-35 лет. Зоологи, астрономы, философы, врачи, сочинители гимнов и кантат, писатели переживают период максимальной продуктивности несколько позже /в возрасте 36-40 лет/, политические и клерикальные деятели – еще позже – на шестом и даже седьмом десятилетии жизни.

Подобные же выводы были получены и другими авторами. В частности, известный психолог и шахматист, гроссмейстер Н. В. Кротус, рассмотрев итоги 160 матчей крупнейших шахматистов пришел к выводу, что "период оптимальных достижений длится немногим более 10 лет, его границы простираются преимущественно между 30 и 40 годами. Средний возраст "пика" – 35 лет." /Кротус Н. В., 1971/.

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 131**]

Тем не менее многие ученые, в частности, даже и сам Лиман приводят многочисленные примеры высокой сохранности творческого потенциала в позднем возрасте /Дт. Беллини, Броун-Секар, Вагнер, Вальтер, Кант, Гайдн, Галилей, Гарвей, Гарди, Гертель, Гюго, Лаплас, Лопе де Вега, Мантеноя, Мейербер, Микеланджело, Т. Мур, Россини, Спенсер, Теннисон, Тихторетто, Франклин, Халос, Шоу и др./ Ламарк создавал "Естественную историю" до смерти, последовавшей на 86 году жизни, Александр Гумбольд писал "Космос" с 76 до 80 лет, Гете – вторую часть "Фауста" между 70 и 80 годами, Верди в 73 года написал оперу "Отелло", а в 79 лет – оперу "Фальстаф", Сервантес писал "Дон-Кихота" от 58 до 68 лет, С. Франк создал до-минорную симфонию в возрасте 64-66 лет. Не слишком ли часто встречаются такие "исключения" среди великих людей? Не слишком ли многочисленны они, чтобы навести на мысль о возможной ошибке в работах Лимана и других ученых?

Прежде всего следует отметить, что сугубо формальный метод оценки качества работ на основе "сопоставления авторитетных мнений" вряд ли вполне корректен. Известный психолог Ревес, критикуя эту методику, указывал, что с ее помощью Сен-Санс и Берлиоз оказываются гениальнее Баха, Россини – Бетховена, Бизе – Шуберта и т. д.

Аналогично в списке из 25 "лучших" картин, который приводит Лиман, картина Корреджо "Свадьба св. Катарины" оценивается

[**PAGE 132**]

132

8

в баллах выше, чем "Ночной узор" Рембрандта, "Святая и невинная любовь" Тициана, "Рождение Венеры" Боттичелли и "Возвращение на остров Цитеру" Вагто.

Этот, а также многие другие недостатки использованного Лиманом метода, очевидно, приводят к систематическим ошибкам в выводах, которые более благоприятствуют достижениям молодых людей, чем старых. Действительно, по Лиману, композиторами в период с 10 до 15 лет создается больше выдающихся достижений, чем в период с 45 до 50 лет и в более позднем возрасте. Хотя многие композиторы /Бетховен, Вебер, Лист, Москанини, Мендельсон, Монтеверди, Моцарт, Сметана, Шопен, Р. Штраус, Шуберт, Энеску/ и начинали писать очень рано, все же подобная статистика представляется маловероятной.

Чтобы избежать этих ошибок, следует отказаться от сугубо формального подхода к предмету. Норм [1] подход возможен только при использовании биографического метода, т. е. метода изучения личности по биографическим и автобиографическим данным.

В частности, автором этой статьи был проведен анализ биографий 866 крупных ученых, изобретателей и деятелей искусства /писателей, поэтов, художников и композиторов/.

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 133**]

Основной вывод, полученный в ходе исследования, заключается в том, что спад творческой активности в среднем и пожилом возрасте типичен только для менее выдающихся ученых и деятелей искусства /табл. 1/. Среди наиболее выдающихся лиц спад встречается не чаще, чем в 10-35% всех исследованных биографий, у остальных же 75-90% способность к творчеству не иссякает вплоть до самого позднего возраста.

Даже в годы, предшествующие смерти, которые как правило связаны с общей деструкцией интеллекта, у наиболее значительных ученых, философов, писателей, поэтов, художников и композиторов не заметен спад. Напротив, часто происходит подъем /Боллиано, Лагранж, Дж. Ф. Нейман, Коперник, Лаплас, Дж. Гиббс, К. Н. Гартман, Гельвецкий, Оуэн, Фурье, В. Блейк, Рабле, Смолетт, Стриндберг, Маттис, Барток, Монтеверди, Опергер, Шенберг, Игюц, Яначек и др./

[**PAGE 134**]

134

10

Как же объяснить то, что "второстепенные" ученые и деятели искусства исчерпывают свои способности к 40-45 годам, тогда как наиболее выдающиеся продолжают работать до глубокой старости? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует остановиться на основных психических свойствах личности, связанных с процессом творчества.

В Институте изучения и оценки личности при Калифорнийском университете в г. Беркли в 1962 г. было проведено обследование около 600 известных писателей, архитекторов, математиков, физиков и инженеров. Оказалось, что крупные ученые, деятели искусства и изобретатели помимо высокого интеллекта, отличаются свободой от внутренних самоограничений, гибкостью и независимостью мышления, тенденцией "сделать что-то отличное от того, что было сделано раньше". Такое качество, вероятно, производно от антиконформизма при антиконформности. Последнее выражается отсутствием косности, чувствительности к противоречиям, а также в плохой приспособляемости к среде, неподатливость давлению окружающих, высокой самоорганизации, отходу от "средней" нормы поведения. От этого у великих людей часто сложные, "с завихрениями" мозги, они бывают неуживчивы, не признают авторитетов и т. п.

Вместе с тем, именно антиконформность увеличивает инициативность, независимость мышления и другие качества, являющиеся необходимым условием творческого труда.

[**PAGE 135**]

135

11

Науке известно парадоксальные случаи, когда отсутствие самостоятельной мысли /конформность/ приводило к отказу от своих собственных открытий. Например, нидерландский физик Каммерлинг-Онесс, в 1911 г. впервые столкнувшись с явлением сверхпроводимости /кстати, это было его последнее открытие, ученому в то время исполнилось 60 лет/, счел это не обнаружением нового феномена, а ошибкой опыта.

С возрастом конформность и консерватизм заметно увеличиваются. Всем известно, что у старых людей старомодные вкусы, они с большим трудом производят переоценку ценностей, отличаются чрезмерной осторожностью, меньшей любознательностью, не склонны к переменам и к необычному.

Все эти качества очевидно приводят к снижению способности к продуктивному /творческому/ мышлению.

Консерватизм и конформность во второй половине жизни как правило ведет к снижению творческого потенциала /Дольтон, Бернелиус, Волластон, Таллер, Мурчисон, Сведенберг, Уоллис, Грилорорцер, Ренуар, Спонтини/. Однако, случаи консерватизма очень редко встречаются в группе выдающихся ученых и деятелей искусства /не более 4% в нашей выборке/.

Структура мотивов человека с возрастом может изменяться в двух направлениях: 1 - [1] и экспансия; 2 – беспокойство и тревожность. Первое направление характерно для юности и среднего возраста, второе – для пожилых

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 136**]

136

12

и старых. Это значит, что пожилой человек уже не стремится к реорганизации своей жизни, его основная цель – сохранение прежнего статуса.

В среднем возрасте человек приобретает семью, растит детей – пропорция доминирующих мотивов меняется. Доминантной становится мотивация, связанная с родительскими и семейными ролями.

Это логически творчество восходит к игре – форме поведения, наиболее характерной для деятелей различных животных – от рыб до млекопитающих. В процессе объединения предков человека в стада игра заменяется трудом – общественной полезной работой, сохраняясь только на ранних этапах индивидуального развития. При этом отдельные компоненты игры все же сохраняются в течение жизни и, вливаясь в трудовую деятельность, вносят в нее элемент творчества. С возрастом, однако, количество таких элементов значительно уменьшается, продукты труда лишаются новизны и оригинальности.

То есть в позднем возрасте структура мотивации меняется следующим образом:

- 1. Преобладание беспокойства и тревожности под экспансией и ростом.
- Смена профессиональной мотивации семейной, родительской.
- Мотивационный "застой", [1] игровых / т. е. творческих/ мотивов деятельности.

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 137**]

137

13

У творческой личности широкий спектр интересов, часто высокое общественное положение и антиконформность приводят к тому, что рост и экспансия интересов не ослабевают на поздних этапах жизненного пути. Поскольку творчество у молодых людей всегда остается ведущей сферой деятельности, профессиональная мотивация не перестраивается резко в течение жизни, игровые моменты в ней не редуцируются.

Одна из наиболее ярких особенностей творческого человека – многосторонность интересов и многоплановость деятельности. Эйнштейн увлекался литературой и играл на скрипке, Вагнер писал романы, Бехтерев – поэмы, Делакруа увлекался [1], Б. Шоу – бактериологией, Ньютон – теологией, Гете и Леонардо да Винчи имели крупные научные заслуги.

Вторая профессия или увлечение могут быть и не глубокими, но они оказывают действие, подобное положительным индукторам, во много раз увеличивая творческий потенциал в основной профессии.

Однако, спектр интересов претерпевает изменения с возрастом человека. Вслед за порой частых увлечений и сомнений приходит зрелость – время постоянства и четкой жизненной ориентации. В позднем возрасте происходит процесс, который в психологии старения назван разобщением

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 138**]

138

14

/ [1]/. Этим термином обозначается эндогенно обусловленное изменение личности, которое выражается в резком сужении круга интересов и ослаблением социальных связей. Такой процесс имеет адаптационное значение, он направлен на сбережение сил, на самосохранение. Творческий акт обычно выражен по пересечении уже известных событий, феноменов. В связи с этим, широта интересов, общая эрудиция – одна из основных предпосылок творческого мышления. Высокоталантливые люди в среднем, пожилom и даже старческом возрасте, очевидно сохраняют такое инфантильное качество, как широту интересов и склонность к приключениям. Это подтверждается литературными

[2] – "Энкерман удивляется, что человек, которому уже 60 лет, безуданно ищет случая увеличить свою опытность. Ни в каком направлении не останавливается он и не кончает; он все хочет идти дольше и дальше, всегда учится, вечно учится. Этим он остается вечно неисчерпаемо юным", – пишет Мечников о Гете. Сам Гете писал: "Многосторонность, собственно говоря, лишь подготавливает ту атмосферу, среди которой может действовать односторонний специалист, который именно благодаря ей располагает достаточным простором." "Две вещи принесли мне огромную пользу, хотя обыкновенно они

1. Мечников И. И. [пробел] оптимизма, 1964, с. 250.
 2. Гете И. В. Избранные философские произведения, 1964, с. 316.
1. [Пробел в машинописи.]
 2. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 139**]

139

15

приносят вред. Во-первых, я был, собственно говоря, самоучка, во всякой науке; как только я приобретал о ней первые понятия, я всегда искал нового, часто просто потому, что не успевал достаточно усвоить обыкновенное", – так объяснял свое творчество великий математик Г. Лейбниц.

На первый взгляд кажется самоочевидным, что высокий интеллект благоприятствует творческому мышлению. Однако в последнее время некоторые ученые склонны предположить, что слишком обширные знания имеют большую тенденцию застывать в догмы, которые мешают репродуктивному /творческому/ мышлению. Очевидно, эти авторы ставят знак равенства между высокой эрудицией и высокими профессиональными познаниями. Действительно, некоторый дилетантизм не только не препятствует, но как это ни парадоксально, способствует открытиям в данной области. Тем не менее, отсутствие профессионализма отнюдь не означает отсутствия эрудиции.

Известный психолог К. Кокс [1] биографии 300 видных представителей науки, искусства и общественных деятелей. У 200 из них коэффициент интеллектуальности оказался выше 130. Такой высокий показатель в странах Европы и Северной Америки встречается лишь у 1% населения. Т. е. среди гениальных людей пропорция обладателей

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 140**]

140

16

наивысшего интеллекта в 66 раз превосходит среднюю.

Однако уже после 18-25 лет интеллект человека начинает снижаться. По данным известного психолога Векслера, к 60-65 годам он оказывается меньшим, чем у подростка, а к 75 – снижается до уровня умственно неполноценного человека. Тем не менее, уже в 20-е годы нашего столетия ученые обратили внимание на тот факт, что спад интеллекта в среднем и пожилом возрасте зависит от его уровня у молодого, т. е. чем более высоким был коэффициент интеллектуальности в период возраста – 18-25 лет, тем менее вероятным спор он претерпевает впоследствии.

Можно предположить, что первоначально высокий уровень интеллекта творческих людей обеспечивает его сохранность в позднем возрасте.

Американские психологи Ботвиник и Биррен исследовали "нетипичную группу старых людей". Нетипичность их состояла в том, что даже самое скрупулезное медицинское обследование не выявило у них никаких, даже самых незначительных признаков возрастной инволюции. Проведя психологическое исследование данной группы ученые вскрыли поразительную закономерность – интеллект у здоровых стариков оказывается таким же, как у молодых людей. И, напротив, даже очень незначительное ослабление физического здоровья влечет за собой резкое снижение интеллекта.

[**PAGE 141**]

141

17

Однако, [1] биографий выдающихся лиц не дает нам права сделать аналогичный вывод о жесткой зависимости старения психики от инволютивных изменений патологического характера, например, Резерфорд, Россини, Фальконе отличались хорошим физическим здоровьем в поздний период своей жизни, хотя творческая продуктивность их в это время была низка, и, напротив, больные физически Борман, Вагнер, Дарвин, Фарадей, Эль Греко сделали значительные вклады в мировую культуру в позднем возрасте. Очевидно, психика выдающихся людей наиболее малергантна и старческим реп [2] изменениям у них не столь четко выражена корреляция между общей инволюцией организма и ослаблением психических функций в [3].

Кроме того, средние "показатели здоровья" у пожилых лиц, занятых творческим трудом в целом выше, чем в средней выборке, продолжительность их жизни также превышает среднюю / [4] 1884; [5] 1967/.

Творческая личность в зрелом и даже пожилом возрасте сохраняет многие "пирантильные" качества, так как антиконформизм, склонность к риску, некоторое [6] авантюризма, высокий и подвижный интеллект, широкий спектр интересов и склонность к их переключению /динамичность и полифункциональность/, специфическая детская мотивация. Можно поэтому согласиться с Демондом Моррисом, который рассматривает творчество как проекцию по взрослому детских, гениальных психологических черт. У наиболее выдающихся

1. [Пробел в машинописи.]
2. [Пробел в машинописи.]
3. [Пробел в машинописи.]
4. [Пробел в машинописи.]
5. [Пробел в машинописи.]
6. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 142**]

142

18

ученых, изобретателей и деятелей искусства эти признаки выражены четче, и они дольше сохраняются на протяжении индивидуального развития. Этим можно объяснить высокую сохранность личности и неиссякающий творческий потенциал тех людей, которых мы называем гениями.

[**PAGE 143**]

143

Отец П. Флоренский

ИТОГИ

От глубокой древности две познавательные способности почитались благороднейшими: слух и зрение. Различными народами ударение первенства ставилось либо на том, либо на другом, древняя Эллада возвеличивала преимущественно зрение, Восток же выдвигал как более ценный – слух. Но несмотря на колебания в вопросе о первенстве, никогда не возникало сомнений об исключительном месте в познавательных актах именно этих двух способностей, а потому не возникало сомнений и в первенствующей ценности искусства изобразительного и искусства словесного – деятельности, опирающейся на самые ценные способности восприятия.

Рассмотрением в предыдущем этих высших деятельностей заработано право подвести некоторый итог о познавательной деятельности вообще. Она строит символы – символы нашего отношения к реальности. Предпосылка деятельности, все равно, будет ли это искусство изобразительным или искусство словесное, есть реальность. Мы должны ощущать подлинное существование того, с чем соприкасаемся, чтобы стала возможной культурная деятельность, вплотную признаваемая как потребная и ценная, без этой предпосылки реализма наша деятельность представляется внешне-полезной, в достижении

[**PAGE 144**]

144

2

некоторых ближайших корыстей, либо внешне-развлекательной, забавной, искусственным наполнением времени. Но, не созная реальности, которую знаменует, т. е. вводит в наше сознание, то или иное деяние культуры, мы не можем признать его внутренне достойным, истинно человеческим. Иллюзионизмом как деятельностью, не считающейся с реальностью, по существу своему отрицается человеческое достоинство: отдельный человек замыкается здесь в субъективное и тем самым перерезает свою связь с человечеством, а поэтому и с человечностью. Когда нет ощущения мировой реальности, тогда распадается и единство вселенского сознания, а затем – и единство самосознающей личности. Точка – мгновенно, будучи ничем, притязает стать всем, а вместо закона свободы воцаряется каприз рока. Перспектива в образительности и схематизм в словесности – последствия, а последствие, единое последствие – рассудочность, – она же – закон тождества отвлеченного мышления. Точка-мгновение здесь закрепляется как исключительное, отрицающее реальность всей полноты бытия, себя не утверждающее – абсолютизм. Но, отстранив от себя всякую реальность, эта "абсолютная" естественно остается лишь формальным притязанием, равно относимым к любой точке-мгновению, к любому Я. "Точка зрения" в перспективе и есть попытка индивидуального сознания оторваться от реальности, даже от собственной своей реальности – от тела, от второго глаза, даже от первого, правого глаза, поскольку и он не есть математическая точка, математическое

[**PAGE 145**]

мгновение. Весь смысл этой, перспективной, точки зрения, – в исключительности, в единственности: точка зрения в перспективе есть полная бессмыслица, и коль скоро некоторая точка пространства и времени провозглашается точкою зрения, то тем самым отрицается за другими точками пространства подобная значимость. Нужно раз навсегда утвердить истинный смысл перспективы: эта последняя не есть что-либо положительное, и точка зрения не имеет никаких собственных положительных определений и характеристик, – но определяется лишь отрицательно, как "не то", что все прочие точки, и потому содержанием самой перспективы необходимо признать отрицание какой бы то ни было реальности, кроме реальности данной точки. Ведь если бы реальность вне ее была допущена, тем самым открывалась возможность и другой, оттуда, точки зрения, и, следовательно, перспективное единство, основной постулат перспективности, было бы принципиально нарушено. Ирреализм и перспективизм не случайно исторически оказались попутчиками, а суть одна и та же – установка культуры, первый по внутреннему смыслу, а второй – по способу выражения, общее же имя и тому и другому – иллюзионизм. Так – в изобразительной деятельности, когда ирреалистический замысел раскрывается в зрении; но так же, как раз так же и в деятельности словесной, обращаемой к слуху. Словесное схемо-строительство есть обнаружение ирреалистической предпосылки языка – имяборчество. Схемо-строительство, как и перспектива, исходит из предпосылки

[**PAGE 146**]

146

4

об отрицании реальности. Но схема не могла бы выдавать себя за реальность, если бы не притязала при этом на единственность и не отрицала бы всех прочих схем: признав другую схему, сознанию тем самым пришлось бы признать и некоторый другой центр /во времени или в пространстве/ схемо-строительство, следовательно – и некоторую реальность – вне себя, вне наличного здесь и теперь. Но опустошенный от всякой конкретности, этот центр, это отвлеченное Я, формален, – и потому определение его – чисто отрицательное. Словом, тут об этом центре речи придется повторить все сказанное о точке зрения.

Иллюзионизму противопоставляется реализм. Реальность не дается уединенному в "здесь" и "теперь" точечному сознанию. Закон тождества, применяется ли он в зрении /перспектива/ или в слухе /отвлеченность/, уничтожает бытийственные связи и ввергает в самозамкнутость. Реальность дается лишь жизни, жизненному отношению к бытию, а жизнь есть непрестанное ниспровержение отвлеченного себя – тождества, непрестанное умирание единства, чтобы прозябнуть в соборности. Живя, мы собираемся сами с собой, - и в пространстве и во времени, как целостный организм, собираемся воедино из отдельных взаимоисключающих – по закону тождества – элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр. и пр. Подобно мы собираемся в семью, в род, в народ и т. д., собираясь до человечества

[**PAGE 147**]

147

5

и включая в единство человечности весь мир. Но каждый акт соборования есть вместе с тем и собиранием точек зрения и центров схемо-построения. То, что называется обратной перспективой, вполне соответствует диалектике. Одно – в области зрения, другое – в области слуха, но по существу и то, и другое есть синтез, осуществляемый движением, жизнью. Отвлеченной неподвижности иллюзионизма противопоставляется жизненное отношение к реальности. Так, создаваемые символы реальности непрерывно искрятся многообразием жизненных отношений: они по существу соборны. Такие символы, происходят/щие?/ от меня, - не мои, а человечества, объективно сущие. И если в иллюзионизме объективный двигатель в возможности сказать о произведении культуры "мое", хотя бы на самом деле оно было весьма компиляторским, т. е. награбленным, то при реалистическом мироощущении побуждает созидать именно возможность сказать о созданном "не мое", "объективно сущее". Изобрести – стремление иллюзионизма, обрести – реализма – обрести как вечное в бытии.

Но изобретение, поскольку оно в самом деле таково, предполагает замкнутие в субъективность: напротив, обретение требует усилия, направленного на бытие. Реалистическое отношение к миру по самому существу дела есть отношение трудовое: это жизнь в мире. Иллюзионистическое миропонимание пассивно, да оно и не может быть активным, коль скоро при нем не ощущается реальности, тогда как

[**PAGE 148**]

реалистическое твердо знает, что реальность должна быть активно усво/я/ема трудом.

Именно потому, что нас окружают не призрачные мечты, которые перестраивались бы по нашей прихоти, бессильные и бескровные, а реальность, имеющая свою жизнь и свои отношения к прочим реальностям, именно потому она вязка и требует с нашей стороны усилия, чтобы были завязаны с нею и новые связи, чтобы были прорыты в ней новые протоки. Это – символы. Они суть органы нашего общения с реальностью. Ими и посредством их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до сих пор от нашего сознания. Изображением мы видим реальность, а именем – слышим ее; символы – это отверстия, пробитые в нашей субъективности. Так что же удивительного, если они, явления нам реальности, не подчиняются законам субъективности? И не было /ли/ бы удивительным противоположное? Символы не укладываются на плоскости рассудка, структура их насквозь антиномична, но эта антиномичность есть не возражение против них, а напротив – залог их истинности. Иллюзионистическое, вне-жизненное, пассивное мировоззрение искало во что бы то ни стало отвлеченного единства, и это единство выражало самую суть возрожденческого нигилизма. Не следует ли отсюда, что миродействие реалистическое, на жизнь направленное и трудовое, должно отправляться от существенного признания соборной множественности в самых орудиях нашего отношения к бытию?

[**PAGE 149**]

149

7

II

Возрожденское мироощущение, помещая человека в онтологическую пустоту, тем самым обрекает на пассивность, и в этой пассивности образ мира, равно как и сам человек, распадается и рассыпается на взаимоисключающие точки-мгновения. Таково его действие по его сути. Но было бы ошибкой считать это разложение целого только теоретической угрозой, - пределом, никогда не достигаемом исторически. Опасность, когда-то казавшаяся неопределенно далекой, уже вплотную подступила к культуре: и не в силу отвлеченных соображений приходится пересматривать курс недавней культуры, а под натиском самой жизни: мы, как члены человеческого рода, как личности, уже не в состоянии жить среди продуктов самоотравления возрожденской культуры. Мы фактически уже восстаем против нее, не кто-либо один, а многие, большинство. Когда физик или биолог, или химик, даже психолог, философ или богослов, читают с кафедры одно, пишут в научных докладах другое, а дома, в своей семье, с друзьями, чувствуют третье, вступая в противоречие с существенными предпосылками своей собственной мысли, то не значит ли это, что личность каждого из них разделилась на несколько исключаящих друг друга? А беря более глубоко, мы легко усмотрим ту же внутреннюю несвязность и в пределах лекций, и в пределах диссертаций, и жизнечувствия.

[**PAGE 150**]

150

8

Личность рассыпается, утверждая отвлеченное единство всей своей деятельности. Но это не соборность, не синтез, не творческое объединение, а разложение, механическая смесь – словом, не жизнь, а смерть. И опять – не от злой воли того или другого деятеля культуры, а необходимое последствие самого хода ее.

Уже давно-давно, вероятно, с XVI века мы перестали схватывать целое культуры, как свою собственную жизнь; уже давно личность, за исключением очень немногих, не может подняться к высотам культуры, не терпя при этом величайшего ущерба. Да, уже давно попытка обогатиться покупается жертвою цельной личности. Жизнь разошлась в разных направлениях, и идти по ним не дано; необходимо выбирать. А далее, каждое направление жизни расщепилось на специальности отдельных культурных деятельностей, вслед за чем произошло раздробление и их на отдельные дисциплины и узкие отрасли. Но и эти последние, естественно, должны были подвергнуться дальнейшему делению. Отдельные вопросы науки, отдельные понятия в области теоретической вполне соответствуют той же крайней специализации в искусстве, в технике, в общественности. И если нередко слышится негодование на механизацию обычного труда, где каждому работнику достается лишь ничтожная часть какого-нибудь механизма, конструкции, и, может быть, назначение которого он не понимает, и в котором

[**PAGE 151**]

151

9

во всяком случае не пользуется, то сравнительно с этой специализацией рук, насколько более вредной и разрушительной должна быть оцениваемая специализация ума и вообще душевной деятельности?

Содержание науки чужой специальности давно уже стало недоступно не только просто культурному человеку, но и специалисту-соседу. Однако и специалисту той же науки отдельная дисциплина ее недоступна. Если специалист-математик берет в руки вновь полученную книгу специального журнала, не находит, что прочесть в ней, потому что с первого же слова ничего не понимает ни в одной статье, то не есть ли это /сдвиг/ самого курса нашей цивилизации? Культура есть среда, растящая и питающая личность, но если личность в этой среде голодает и задыхается, то не свидетельствует ли такое положение вещей о каком-то коренном "не так" культурной жизни? Культура есть язык, объединяющий человечество; но разве не находимся мы в вавилонском смешении языков, когда никто никого не понимает, и каждая речь служит только чтобы окончательно удостоверить и закрепить взаимное отчуждение? Мало того, что отчуждение закрадывается в самое единство отдельной личности: себя самое личность не понимает, с самой собою утратила возможность общения, раздираясь между взаимоисключающими и самоутверждающимися в своей исключительности "точками зрения". Отвлеченные схемы, они

[**PAGE 152**]

152

10

же перспективные единства, перспективы, если допустить такой неологизм, вытеснили из жизни личность, и ей приходится незаконно ютиться где-то на задворках, работая на цивилизацию, ее губящую и ее же порабащивающую.

Но человек не может быть поработан окончательно. Настанет день, и он свергнет иго возрожденной цивилизации, даже со всеми в самых основах культурного строительства. Подземные удары землетрясения слышались уже не раз на протяжении последнего столетия: Гете, Рескин, Толстой, Ницше, сейчас Шпенглер, да и многие другие уже предостерегали о катастрофических силах, и не изданием "полного собрания сочинений" и продажей открыток-портретов обезвредить грозный смысл их обличений и предвещаний. Здание культуры духовно опустело. Можно продолжать строить его, и оно еще будет строиться. История претерпевает величайшие сдвиги не под ударами многопудовых зарядов, а от иронической улыбки. И не по бенгальским огням и /fortissimo/ оркестра узнается конец исторического эона, а по обращенности глаз более зорких в противоположную от наличной культуры сторону горизонта. Споры, борьба и гонения указывают на какую-то историческую нужность оспариваемого. Но вступает час, когда не спорят, когда может быть даже оценивают тонкость разработки выдохшейся цивилизации. Но сказано короткое слово "не надо", и им все решается. Дальнейшее же есть естественное разрушение оставленного дома. Схоластика пала не тогда, когда восставали против нее

[**PAGE 153**]

153

11

и спорили с нею, напротив, эта борьба была залогом жизненности. Но в известный момент без спора, без упреков, без гнева, Декарт попросту махнул на нее рукой и пошел своим путем. Это-то небрежное мановение и было роковым: схоластика кончилась, и началось новое философское мировоззрение. Так вот, я здесь хочу сказать, что мы-то еще спорим против возрожденства, мы-то еще критикуем его предпосылки и сложившуюся из них культуру. И, вероятно, это – последние споры. А потом те, кто будут за нами, ничего не отрицая, нисколько не возражая против тонкостей научных достижений и разработанности художественных приемов и т. д. и т. д., скажут роковое "не надо", и вся сложная система обездушенной цивилизации пойдет разваливаться, как развалилась схоластика империи. Это не значит, чтобы разваливающееся в своем роде было несовершенно и не решало той или другой поставленной ему задачи. Трудно себе представить, чтобы большое историческое явление, складывающееся веками, не было по-своему целесообразным, когда культура есть существенно деятельность по целям. Но самая задача, решению которой служит данное явление, может оказаться как ненужная или во всяком случае не окупающая усилий, которые тратятся на ее решение. И тогда человечество отказывается от поставленной задачи и средств к ее разрешению. Так домохозяин бросает изветшавший дом, ремонт которого поглощает все доходы и который своим обитателям предоставляет

[**PAGE 154**]

154

12

взамен много, но неудобных и почти нежилых комнат. Семья предпочитает выселиться в небольшой, но приспособленный к жизни домик, а большой дом разрушается ускоренным ходом, пока его не повалит какое-нибудь стихийное бедствие. Цивилизация нашего нового времени есть именно такой дом, поглощающий все силы и заставляющей жить для себя, вместо того, чтобы облегчать жизнь. Человек надсаживается над работой для культуры, не получая взамен ничего, кроме горького сознания своего одиночества, обеднения и раздробления. И, наконец, он примет решение и, собрав свои пожитки, переселится на сторону, чтобы зажить с меньшими притязаниями на блеск, но сообразно настоящим потребностям семьи. Может быть и нужный когда-то, когда наука льстила себя надеждой быть метафизикой мира, - известный уклад мысли впоследствии потерял свой смысл, коль скоро пришлось сознаться, что дело ограничивается лишь построением схемы. Между тем, этот уклад мысли, всегда не соответствовавший внутренним потребностям человека, все более проявлял свою неудобность по мере своего роста; и все несоразмернее делалось научное понимание с человеческим духом, не только качественно, по содержанию своих высказываний, но и количественно, по нехватимости их индивидуальными силами. Наука хотела заменить собою то, в чем ищет себе удовлетворения личность; а в итоге стараний была сооружена огромная машина, к которой не знаешь как подступиться. Тут не может быть и речи об удовлетворении:

[**PAGE 155**]

155

13

это как если бы построили дом в десятки квадратных верст длиной, верстами меряющий высоту комнат и соответственно обставленный. Едва ли была /бы/ вам польза от стаканов в сотни ведер емкостью, ручек с корабельную мачту, стульев высотой с колокольню, и дверей, которые мы сумели /бы/ открывать только при помощи колоссальных инженерных сооружений в течение, может быть, годов. Так и научное мировоззрение и качественно и количественно утратило тот основной масштаб, которым определяются все прочие наши масштабы: самого человека. Конечно, в нетрудовом миропонимании можно отвлекаться от чего угодно и воображать себе все, что угодно, приписывая к любой характеристике любое число нулей. Но ведь эта возможность опирается на жизненную безответственность такого мыслителя, он заранее уверен, что его построения не придется проверять жизнью, и потому фантастичность их не будет изобличена подлинными потребностями живого человека. Такому мыслителю нет дела до мира, выхватив облюбованный кусочек мира, он ведет себе свою линию куда-то в сторону от жизни и, естественно, не получает окрика в той пустоте субъективности, куда он устремился. Он сам по себе. Но, став только таким, мысленно уйдя от человечества, он становится и вне себя, вне себя самого, ибо как человек не может же он уйти от человеческой природы, а, следовательно, от связи с человечеством. Но эта бесчеловечная субъективность, по какому-то странному недоразумению себя объявляющая

[**PAGE 156**]

156

14

объективностью /себя!/, вносит в мыслителя раздвоенность сознания и, как мыслитель, он думает и говорит как человек. С кафедры он отрицает тот масштаб, которым одним только он измеряет жизнь на самом деле и который дает ему жизненные силы так же и для деятельности на той же кафедре.

Современный человек ведет двойную бухгалтерию. Она имела еще некоторый смысл, пока подразумевалось средневековое учение о двойной истине, и людям верилось в науку как в истину. Но именно последнее разрушено до основания кантианством, позитивизмом, феноменализмом, эмпирицизмом, прагматизмом и прочими самооценками научной мысли. Она не есть истина и не притязает к таковой, она хочет быть удобством и пользой. Если бы истина хотя бы самая суровая, уничтожающая меня и мои масштабы – то я человек, вынужден смириться и смиряюсь. Но мне возвещают, чтобы на истину я не смел и надеяться. Так польза и удобство? – ну, тогда уж позвольте мне, человеку, судить самому, что мне полезно и что мне удобно. И, пожалуйста, не благодетельствуйте меня удобствами насильно. Может быть, ваш сказочный дом для великанов и был бы удобен им, это их дело. Но в действительной жизни мне и моим близким, – близкие мне по человечеству все люди, – это жилище совсем не подходит, и кому же знать о том, удобно мне что-либо или не удобно, как не мне самому. Наука, согнанная своими сторонниками с трона истинности и всегда продолжающая придворный этикет истинности, либо смешна,

[**PAGE 157**]

157

15

либо вредна. Я же, человек, со своей стороны решительно не вижу оснований мучить себя китайскими церемониями, которые и объявляются-то условными и по существу познавательного ничего не дающими, даже изучить их нету у меня ни времени, ни сил, тем более, что жизнь ведь и не ждет и требует к себе внимания и усилия. А жизнь пережить – ведь не поле перейти. И вот, в итоге, я, человек, скажем 40-х годов двадцатого века, не беру на себя обузы входить в ваши нетрудовые контроверзы, делать какие-то выборы и усовершенствования. Может быть, ваши построения по-своему великолепны, как был великолепен в свое время и этикет при дворе Короля-Солнца. Но что мне до того – и до ваших тонкостей, и до версальских. Мое дело маленькое, моя короткая жизнь и мой человеческий масштаб: и я без раздражения и гнева, силою вещей, силой запросов жизни, сознав жизненную ответственность, просто отхожу от жизни – от жизни-забавы, и живу по-своему. Кое-что, разумеется, остается в моем хозяйстве, может быть, даже будет усвоено им; но большая часть этой цивилизации, коль скоро разрушена система, само собою в небольшое число поколений забудется или останется в виде пережитков, может быть, ритуального характера, но ни к чему не обязывающих – как какой-нибудь брудершафт, пережиток причащения кровью друг друга. Но основное русло жизни пойдет мимо того, что считалось еще так недавно заветным сокровищем цивилизации. Была же когда-то сложнейшая и пышно разработанная система магического

[**PAGE 158**]

158

16

миропонимания, и тонкостью отделки своей она не уступила бы ни схоластике, ни сциентизму, и была действительно великолепная система китайских церемоний, как и не менее великолепный талмудизм. Люди учились и мучились целую жизнь, сдавали экзамены, получали ученые степени, прославлялись и кичились... а потом обломки древне-вавилонской магии ютятся в грубой избе у полунормальной знахарки и т. д. Даже большие знатоки древности лишь смутно-смутно нащупывают некоторые отдельные линии этих великих построений, но уже не сознавая их внутреннего смысла и ценности, хотя не исключена и возможность, что где-нибудь и когда-нибудь эти построения восстановятся.

Но ныне светом и молвой
Они забыты....

Таково же и будущее возрожденской науки, но более суровое, более беспощадное, поскольку и сама она была беспощадна к человеку.

/начало 30-х годов - ?/
/текст не вполне исправлен/

[**PAGE 159**]

159

"Очерком закона народонаселения" Т. Р. Мальтуса открывается серия статей посвященная наиболее актуальным проблемам народонаселения, эволюции человека и контроля рождаемости. В следующих номерах журнала мы предполагаем публикацию работ Роберта Уоллеса, Морстона Бейтса, Энабеллы Десмонд, Дж. Х. Фремлина, П. Тейяра де Шардена, Тадеуша Добжанского и других ученых, внесших вклад в эту проблему.

ОЧЕРК ЗАКОНА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Томас Роберт Мальтус
(1766-1834)

1798

Глава I

Большие и неожиданные открытия, сделанные за последние годы (___??) философии природы, усиление распространения знаний за счет кни(___??)атания, страстный и раскрепощенный дух исследования, достига(___??) цели через печатное и даже непечатное слово, новые и необыч(___??)ведения о политических событиях, ослепительных и изумительн (___??) для разума, а особенно такое грандиозное явление на политическом горизонте, как французская революция, которая, подобно сияющей (___??)е, вероятно, была предназначена либо вдохнуть новую жизнь и (___??)ию, либо выжечь и истребить съезживающихся обитателей земли – (___??) это вместе взятое приводило многих знающих людей к убеждению, (что м??)ы вплотную подошли к периоду больших и важнейших перемен – перемен, которые в той или иной мере окажутся решающими для буду(щей?) судьбы человечества.

Говорили, что теперь возникает вопрос, обязательно ли начнется

[**PAGE 160**]

160

этого времени ускоряющееся движение человека к беспредельному (и??) доселе невозможному благородствию, или он будет осужден на вечные колебания между счастьем и нищетой и после всех усилий будет все(??) же оставаться неизмеримо далеко от желанной цели.

Однако, с беспокойством, с каким каждый друг человечества должен смотреть в эту мучительную неизвестность, и так же стра(??) о, как пытливый ум приветствует каждый луч света, могущий помочь ему проникнуть в будущее, вызывает горькие сетования тот (??)т, что писатели относительно каждой стороны этого важного вопроса все еще держатся далеко друг от друга. Их взаимные доводы подвергаются беспристрастной проверке. Этот вопрос не сводится к меньшему числу пунктов и, видимо, даже теоретически едва ли близок к решению.

Защитник существующего порядка вещей склонен относиться к (??)те умозрительных философов либо как к группе хитрых и преду(??)енных мошенников, восхваляющих ревностную доброжелательность (??)сущих пленительные картины более счастливой формы общества только затем, чтобы лучше использовать их для разрушения существующих порядков и продвижения собственных подробных и претенциоз(ных??) программ чести, либо как к диким и сумасбродным фанатикам, (??)ые спекуляции и нелепые парадоксы которых недостойны внимания (??)го благоразумного человека.

Сторонник совершенствования человека и общества резко и с (??)меньшим презрением возражает против защитника существующего порядка. Он клеймит его позором как раба самых жалких и ограниченных предрассудков или как корыстного защитника злоупотреблений гражданского общества. Он изображает его либо в виде личности,

[**PAGE 161**]

161

проституирующей свои взгляды в корыстных целях, либо как типа, у которого недостает ума для понимания каких-либо великих и благородных вещей, который не видит дальше своего носа и который поэтому неспособен воспринять взгляды просвещенного благодетеля человечества.

В этом недоброжелательном споре истина не может не страдать. Действительно хорошим доводам в пользу того или иного взгляда не придается надлежащего веса. Каждый следует своей собственной теории и мало озабочен ее утончением и улучшением за счет внимания к достижениям своих оппонентов.

Сторонник существующего порядка вещей огульно осуждает все политическое умозрения. Он не снизойдет даже до того, чтобы проверить основания, из которых сделан вывод о возможности совершенствования общества. Еще менее будет он тревожиться о том, чтобы попытаться беспристрастно и искренне выявить их ошибочность.

Точно также грешит против умозрительный философ. Со взглядом, устремленным на более счастливое общественное устройство, блага которого он рисует в самых обворожительных красках, он позволит себе самые резкие выпады против любого существующего установления, не используя своих талантов для рассмотрения лучших и наиболее надежных средств устранения зла и как будто не зная об огромных препятствиях, которые даже теоретически угрожают помешать прогрессу человека в смысле совершенствования.

В философии считается истиной, что верная теория всегда опирается на опыт. Однако на практике встречается так много противоречий и привходящих обстоятельств, которые не может предвидеть даже самый широкий и проницательный ум, что мало существует теорий,

[**PAGE 162**]

162

которые настолько точны, что не требуют экспериментальной проверки. Но при беспристрастном подходе непроверенная теория не может быть выдвинута в качестве возможной, а тем более в качестве правильной, пока все контраргументы не будут всесторонне взвешены и ясно и последовательно опровергнуты.

Я с большим удовольствием прочитал некоторые рассуждения о возможности совершенствования человека и общества. Я был воодушевлен и восхищен чарующей картиной, которую они развернули. Я страстно желаю таких счастливых усовершенствований. Но я вижу большие и, насколько я понимаю, непреодолимые трудности на пути к ним. Моя цель состоит в том, чтобы рассмотреть эти трудности, заявив при этом, что я очень далек от того, чтобы радоваться, усматривая в них источник победы над сторонниками нововведений, и что для меня не было бы большего удовольствия, чем видеть эти трудности полностью преодоленными.

Самый важный довод, который я буду приводить, определенно не нов. Законы, на которых он основывается, были выяснены Юмом (*Hume*) и более детально д-ром Адамом Смитом (*Dr. Adam Smith*). Он был выдвинут и применен к настоящей теме, хотя и без надлежащего веса и не самым убедительным образом, мистером Уоллесом (*Mr. Wallace*), а может быть, приводился и многими другими авторами, с которыми я не имел случая ознакомиться. Поэтому, хотя я намереваюсь использовать его для обоснования точки зрения, несколько отличной от тех, с которыми встречался раньше, я, конечно, и не подумал бы его выдвинуть, если бы он когда-либо был беспристрастно и удовлетворительно опровергнут.

Причину такого пренебрежения со стороны защитников совершенствования

[**PAGE 163**]

163

человечества нелегко объяснить. Я не сомневаюсь в талантах таких людей, как Годуин (*Godwin*) и Кондорсе (*Condorcet*). Я не склонен также сомневаться в их искренности. Насколько я понимаю, и, вероятно, то же думает большинство других, обнаруживаются непреодолимые трудности. Однако эти люди, способности и проницательность которых пользуются признанием, не снизились до того, чтобы их заменить, и продолжают рассуждения с неослабевающим жаром и прежней уверенностью. Конечно, я не вправе говорить, что они сознательно закрывают глаза на эти доводы. Мне следовало бы скорее сомневаться в их вескости, раз ими пренебрегают такие люди, однако они убедительны для меня самого. В связи с этим все же следует признать, что все мы имеем слишком большую склонность заблуждаться. Если бы я видел, что человеку неоднократно предлагают чарку вина, а он этого не замечает, то я бы подумал, что он либо слеп, либо просто невежлив. Более правильная философия скорее наведет меня на мысль, что мои глаза обманывают меня и что предложение вина не было в действительности тем, что я себе представляю.

Приступая к изложению моего довода, я должен сказать, что в настоящий момент я извлекаю из него все простые предположения, т. е. все допущения, которые не могут быть выведены логически на какой-нибудь объективной философской основе. Какой-нибудь писатель может сказать мне, что, по его мысли, человек в конце концов превратится в страуса. Я не могу должным образом ему возразить. Но прежде, чем он может рассчитывать убедить в этом какого-либо благоразумного человека, ему следует показать, что шеи людей постепенно удлиняются, что губы вырастают все более твердыми и более выдаются,

[**PAGE 164**]

164

что ноги и ступни повседневно меняют свою форму и что волосы начали превращаться в перьевые пеньки. А до того, как можно будет показать возможность такого удивительного превращения, бесполезно тратить время и красноречие и распространяться о счастье человека в таком состоянии: описывать его силу как в беге, так и в полете, рисовать его в условиях, где все низменные наслаждения будут презираться, где он будет занят собиранием только необходимого для жизни и где, следовательно, каждый человек будет иметь светлую трудовую долю и много свободного времени.

Мне кажется, будет правильным выдвинуть два постулата.

Во-первых, для существования человека необходима пища.

Во-вторых, половая страсть является необходимостью и будет оставаться в ее теперешнем состоянии, почти не меняясь. По всей видимости, всегда, со времен, с которых мы приобрели какие-то знания о человечестве, эти два закона были постоянными свойствами нашей природы, а так как раньше мы не наблюдали в них каких-либо изменений, мы не имеем права считать, что они когда-либо изменятся без непосредственного действия силы того Бытия, которое является первопричиной мирового порядка и для выгоды своих созданий все еще выполняет согласно постоянным законам все свои разнообразные действия.

Я не знаю ни одного писателя, который бы допустил, что на этой земле человек в конце концов сможет существовать без пищи. Но мистер Годуин допускает, что половая страсть может со временем угаснуть. Однако, ввиду того, что он называет эту часть своей работы отклонением в область предположений, я не стану долго на этом задерживаться, а только скажу, что лучшие доводы в пользу

[**PAGE 165**]

165

совершенствования человека можно получить рассматривая большой прогресс, который им уже достигнут от первобытного состояния, ибо трудно сказать, когда он прекратится. Но что касается угасания половой страсти, то никакого прогресса до сих пор не было. Видимо, ныне она пребывает в столь же большой силе, как две или четыре тысячи лет назад. Теперь, как было всегда, имеются отдельные исключения. Но т. к. эти исключения не появляются чаще, несомненно было бы весьма не по философски из простого существования исключений делать вывод, что со временем исключение станет правилом, а правило исключением.

Принимая поэтому мои постулаты как верные положения, я говорю, что сила роста населения несравненно больше силы, с которой земля производит средства существования для человека.

При неограниченном росте население увеличивается по геометрической прогрессии. Небольшой экскурс к числам покажет безмерность первой силы по сравнению со второй.

Согласно закону нашей природы, по которому пища необходима для жизни человека, действия этих неравных сил должны уравновешивать друг друга.

Это значит, что трудности существования обеспечивают сильный и постоянный контроль численности населения. Эти трудности должны в чем-то сказываться и с неизбежностью сурово ощущаться значительной частью человечества.

Благодаря животному и растительному царствам природа везде щедро и расточительно рассеивает семена жизни. Она сравнительно бережлива в смысле пространства и питания, необходимых для их произрастания. Зародыши жизни, содержащиеся на нашей крохотной земле, при изобилии пищи и достатке пространства, в течение

[**PAGE 166**]

166

нескольких тысяч лет заполнили бы миллионы миров. Необходимость как властный и вездесущий закон природы сдерживает их в предписанных границах. Растительные и животные формы отступают перед этим великим законом ограничения. И человек никакими усилиями разума не может избавиться от него. Среди растений и животных его действие проявляется в напрасной трате семян, болезнях и гибели в незрелом возрасте, среди людей – в нищете и пороках. Нищета является совершенно необходимым его следствием. Пороки – весьма вероятное следствие, и потому мы видим, что они имеют широкое распространение, но их, видимо, не следует называть абсолютно необходимым следствием. Устоять против всех искушений зла – тяжелое испытание для добродетели.

Это естественное неравенство двух сил – роста населения и продуктивности земли и великий закон природы, постоянно поддерживающий их равенство, создают большие и, по-моему, непреодолимые трудности на пути к совершенствованию общества. Все иные доводы слабы и имеют подчиненное значение по сравнению с этим. Я не вижу никакого способа избавления человека от бремени этого закона, охватывающего всю живую природу. Ни предполагаемое равенство, ни агротехнические предписания при самом неукоснительном соблюдении не могут устранить его давление даже хотя бы всего на одно столетие. Отсюда, создается впечатление, что он решительно против существования такого возможного общества, все члены которого жили бы в праздности, счастье и относительной свободе и не испытывали бы беспокойства о средствах существования для себя и своей семьи.

Следовательно, если наши предпосылки правильны, этот довод против возможности улучшения общества является решающим.

[**PAGE 167**]

167

Таким образом, я набросал общую схему аргументации, но я рассмотрю ее более подробно, и я думаю, мне удастся показать, что опыт – истинный источник и основа всех знаний – неизменно подтверждает ее правильность.

Глава II

Я сказал, что при отсутствии сдерживающих факторов, население увеличивается в геометрической, а средства существования человека – в арифметической прогрессии.

Проверим теперь, верно ли это положение.

Я думаю, будет позволительно сказать, что до сего времени не было государства, по крайней мере, сколько-нибудь известного нам, в котором обычаи были бы настолько непрочными и простыми, а средств существования было бы такое изобилие, что не существовало бы никаких препятствий для ранних браков среди низших классов из-за боязни плохой обеспеченности их семей или среди высших классов из-за опасения понизить свой уровень жизни. Следовательно, до сих пор мы не знаем государства, в котором бы росту населения была предоставлена полная свобода.

Введен закон о браке или нет, видимо, веление природы и добродетели состоит в ранней привязанности к одной женщине. Если бы была свобода изменения в случае неудачного выбора, то эта свобода не влияла бы на рост населения до тех пор, пока она не достигла бы весьма порочного уровня, и теперь мы допускаем существование общества, в котором порок является редкостью.

Следовательно, в государстве, где осуществлялись бы полное равенство и добродетель, где преобладали бы целомудрие и простота

[**PAGE 168**]

168

обычаев, а средства существования были бы настолько обильны, что никакая часть общества не опасалась бы за полную обеспеченность семьи и рост населения не испытывал бы никаких ограничений, наблюдалось бы невиданное доселе увеличение численности человека.

В Соединенных Штатах Америки, где средства существования были более обильны, обычаи народа более чисты, а потому и ограничений на ранние браки было меньше, чем в любом современном государстве Европы, было обнаружено, что время удвоения населения составляет 25 лет.

Этот темп увеличения, хотя и небольшой по сравнению с предельной скоростью роста населения, но все же взятый из реальной действительности, мы возьмем за правило и скажем, что при отсутствии контролирующих факторов население продолжало бы удваиваться каждые 25 лет, т. е. увеличивалось бы в геометрической прогрессии.

Возьмем какую-нибудь в точку земли, например, этот Остров[1], и посмотрим, с какой скоростью в самом лучшем случае могут увеличиваться средства существования. Мы начнем с того состояния возделанности, в котором он пребывает сейчас.

Если я допускаю, что за счет самой лучшей политики, за счет возделывания большого количества земли и большой поддержки земледелия продуктивность этого Острова может удвоиться в первые 25 лет, то я думаю, что это предел, которого еще можно требовать.

1. Автор подразумевает Великобританию (прим. пер.)

[**PAGE 169**]

169

Невозможно допустить, чтобы в следующие 25 лет эта продуктивность возросла в четверо. Это противоречило бы всем нашим знаниям о свойствах земли. Самое большое, что мы можем себе предоставить, это то, что увеличение в следующие 25 лет может равняться нынешней продуктивности. Возьмем теперь это за правило, хотя, конечно, это далеко превосходит истинный темп, и допустим, что при большом напряжении общая продуктивность Острова может увеличиваться каждые 25 лет на величину, равную количеству средств существования, производимому в настоящее время. Даже самые оптимистические прогнозы не могут предполагать большого увеличения. За несколько столетий каждый акр земли этого Острова стал бы похож на сад.

Однако, такой темп увеличения есть ни что иное, как арифметическая прогрессия.

Следовательно, можно без всякой тенденциозности сказать, что средства существования увеличиваются по арифметической прогрессии. Теперь сопоставим друг с другом эти темпы роста.

Вычислено, что население Острова составляет около 7 миллионов, и мы допустим, что нынешняя продуктивность достаточна для поддержания такой численности. За первые 25 лет население возросло бы до 14 миллионов, а т. к. одновременно продукция пищи также бы удвоилась, средства существования соответствовали бы увеличившемуся населению. В следующие 25 лет население достигло бы 28 миллионов, а средств существования оказалось бы достаточно для поддержания жизни только 21 миллиона жителей. В последующий период численность населения увеличилась бы до 56 миллионов, а средств существования оказалось бы достаточно для поддержания всего лишь половины этого населения. И в итоге первого столетия

[**PAGE 170**]

170

население насчитывало бы 112 миллионов, а средств существования хватало бы только на 35 миллионов, которые должны были бы совершенно обездолить остальные 77 миллионов.

Большая эмиграция неизменно наводит на мысль о тех или иных бедствиях в покинутой стране. Немногие лица покинут свои семьи, родственников, друзей и родину ради поисков места поселения в незнакомых и чуждых странах без каких-либо сильных неудобств там, где они живут, или без надежды на какие-то большие преимущества того места, куда они направляются.

Но чтобы сделать аргументацию более общей и менее уязвимой со стороны пристрастных взглядов на эмиграцию, возьмем вместо одного района весь земной шар и допустим, что ограничения на рост населения повсеместно сняты. Если бы средства существования человека, которые доставляет земной шар, увеличивались каждые 25 лет на величину, равную количеству продукции, производимой в мире сейчас, то это значило бы, что продуктивность земного шара абсолютно ничем не ограничена, а темпы ее увеличения много больше того, какого могло бы добиться человечество при самом крайнем напряжении сил.

Задаваясь какой-нибудь численностью населения земли, например, в один миллиард, можно сказать, что численность человечества увеличивалась бы согласно последовательности 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и т. д. а средства существования – как последовательность 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и т. д. За два с четвертью века соотношение населения и средств существования оказалось бы 512:10, за три века – 4096:13, а через две тысячи лет

[**PAGE 171**]

171

Оно почти не поддавалось бы учету, хотя продуктивность за это время увеличилась бы до необъятных размеров.

Нет никаких пределов для продуктивности земного шара: они всегда могут передвигаться и превосходить любое заданное число[1]. Однако, в то время, как сила роста населения является силой высшего порядка, увеличение численности человека может удерживаться только на уровне, соразмерном увеличению средств существования, за счет постоянного действия строгого закона необходимости, контролирующего большую силу.

Теперь остается рассмотреть, как осуществляется этот контроль.

Среди растений и животных дело обстоит просто. Все они пробуждаются могучим инстинктом к увеличению численности своего вида, и этому инстинкту не мешают рассуждения или сомнения относительно обеспеченности их потомства. Следовательно, везде, где имеется свобода, сила увеличения численности максимальна, а чрезмерные эффекты подавляются впоследствии недостатком места и пищи, что является обычным для животных и растений, а у животных еще и тем, что они становятся жертвой других.

Действие этого контроля на человеке более усложнено. Побуждаемый к увеличению численности своего вида столь же могучим инстинктом, он останавливается перед велениями разума, который спрашивает, следует ли ему производить на свет существа, которых он не может обеспечить средствами к жизни. В условиях равноправия этот вопрос не является сложным. При современном состоянии

1. При нашем допущении, что средства существования растут по арифметической прогрессии.

[**PAGE 172**]

172

общества возникают другие соображения. Не понизится ли его положение в жизни? Не подвергает ли он себя в будущем большим трудностям, чем те, которые он испытывает сейчас? Не налагает ли он на себя обязанность более тяжелого труда? А если он обзаведется большой семьей, то сможет ли он ее обеспечить при крайних усилиях? Не увидит ли он своих потомков в отрешках и нищете и требующих хлеба, который он не может им дать? И не скатится ли он до ужасной необходимости потерять свою независимость и быть обязанным милосердной руке благотворительности за поддержку?

Такие соображения рассчитаны на то, чтобы препятствовать настойчивому велению природы с ранних лет проявлять привязанность к одной женщине, и они определенно этому препятствуют, особенно часто у всех цивилизованных наций. А это воздержание почти с необходимостью, хотя и не абсолютной, порождает порок. Однако во всех обществах, даже в самых прочных, тенденция к добродетельной привязанности настолько сильна, что наблюдается постоянное стремление к росту населения. Это постоянное стремление столь же постоянно подвергает низшие классы общества бедствиям и предотвращает любое значительное и устойчивое улучшение условий их жизни.

Происходит это, по-видимому, так.

Допустим, что в какой-то стране количество средств существования как раз таково, что легко обеспечивает поддержание ее обитателей. Постоянная тенденция к росту населения, которая, как известно, наблюдается даже в самых прочных обществах, увеличивает число людей прежде, чем увеличится количество средств существования. Поэтому пища, до этого поддерживавшая 7 миллионов,

[**PAGE 173**]

173

теперь должна быть распределена между 7,5 или 8 миллионами человек. Вследствие этого положение бедных должно ухудшиться, и многие из них будут испытывать суровую нужду. Т. к. предложение рабочей силы превысит потребности ее рынка, то цены на труд должны понижаться, в то время как цены на продукты будут расти. Следовательно, рабочие должны больше трудиться для того, чтобы заработать те же самые средства, как раньше. В течение этого бедственного периода упадок брачного энтузиазма и трудности содержания семьи настолько велики, что рост населения останавливается. Между тем, обесценивание труда, избыток рабочих и необходимость с их стороны усиленно трудиться побуждает земледельцев нанимать больше рабочих, распахивать новые земли, удобрять и улучшать те, что уже распаханы, пока в конце концов соотношение средств существования и населения не станет тем же, от которого мы отправились. Тогда оттого, что положение трудящихся снова становится удовлетворительным, ограничения на рост населения ослабляются, и опять повторяются те же движения взад и вперед в смысле уровня жизни.

Такого рода осцилляции ускользают от поверхностных наблюдателей, и, возможно, даже проницательному уму трудно определить их период. Но вследствие того, что во всех старых государствах существуют какие-то колебания, хотя по различным интерферирующим причинам они во многом менее заметны и более нерегулярны, чем я их описал, нет человека, который бы при глубоком рассмотрении предмета испытывал сильные сомнения.

Почему эти осцилляции не столь явны и не так уж хорошо подтверждаются опытом, как можно было бы ожидать? На этот счет приходит на ум много соображений.

[**PAGE 174**]

174

Одно из главных состоит в том, что история человечества, которой мы располагаем, есть история только высших классов. Мы имеем слишком мало данных о вещах, которые могут зависеть от нравов и обычаев той части человечества, где происходят эти колебательные движения. Удовлетворительная история такого рода, касающаяся одного народа и одного периода, требовала бы постоянного и скрупулезного внимания наблюдателя в течение долгой жизни. Было бы необходимо исследовать, каково было отношение числа браков к числу взрослого населения, в какой степени вследствие ограничений на супружество были распространены порочные обычаи, какова была относительная смертность среди детей наиболее угнетенной части общества и тех, кто жил более свободно и праздно, как изменилась фактическая цена труда и каковы были изменения уровня жизни низших классов общества в различные времена определенного периода.

Такая история особенно бы стремилась пролить свет на то, каким путем осуществляется постоянный контроль численности населения, и, вероятно, доказала бы существование колебательных движений, о которых шла речь, хотя периоды колебаний необходимо должны быть неравными вследствие действия многих помех, таких, как введение или недостаток определенных изделий, более или менее распространенный дух земледельческой предприимчивости, годы изобилия или годы неурожаев, войны и поветрия чумы, законы о бедных, изобретение процессов интенсификации труда без соответствующего расширения рынка для сбыта товара, а особенно, различия между номинальной и фактической стоимостью труда – обстоятельство, которое, возможно, более всех других маскирует эти осцилляции от обычного взгляда.

[**PAGE 175**]

175

Очень редко бывает так, что номинальная стоимость труда повсеместно падает, но хорошо известно, что часто она не меняется в то время, как номинальная стоимость продуктов питания постепенно увеличивается. Это и есть фактическое падение стоимости труда, и в течение этого периода условия жизни низших классов общества должны постепенно ухудшаться. При фактической дешевизне труда фермеры и капиталисты обогащаются. Увеличение их капиталов позволяет им нанимать большее количество людей. Следовательно, может появиться изобилие работы, и тем самым, реальная стоимость труда должна увеличиваться. Но ограничения свободы на рынке труда, которые в той или иной мере существуют во всяком обществе либо вследствие приходских законов, либо, по более общей причине, вследствие легкости объединения среди богатых и ее трудности среди бедных, препятствуют возрастанию стоимости труда несколько дольше естественного времени и удерживают ее на низком уровне, быть может, до бедственного года, когда протесты имеют слишком вопиющий характер и необходимость сопротивления становится слишком очевидной.

Таким образом, истинная причина этого повышения цены на труд остается скрытой, и богатые делают вид, что, учитывая бедственный год, идут на уступки из сострадания и любви к бедным, а когда изобилие возвращается, позволяют себе самые непомерные жалобы на то, что цена снова не понизилась, хотя при малом размышлении они могли бы увидеть, что она должна была повыситься намного раньше, если бы не было их собственного несправедливого сговора.

Но хотя богатые нечестным путем часто способствуют удлинению бедственного периода, все же ни одна из возможных

[**PAGE 176**]

176

форм общества не могла помешать почти постоянному давлению нищеты на значительную часть человечества, если не было равноправия, или на всех, если все были равноправны.

Теория, от которой зависит истинность этого пожелания, представляется мне настолько ясной, что я не нахожу возможным предположить, в чем она встретит возражения.

То, что популяция не может увеличиваться без средств к существованию, является настолько очевидным, что не нуждается в иллюстрации.

То, что население неизменно растет там, где имеются средства к существованию, подтверждается историей каждого народа, который когда-либо существовал.

И то, что превосходящая сила роста населения не может сдерживаться иначе, как порождающая нищету и порок, чересчур убедительно доказывается обильной порцией этих слишком горьких ингредиентов в чаше человеческой жизни и продолжением действия тех физических причин, которые, видимо, их производят.

Глава III

Хорошо известно, что страна, занимающаяся выпасом скота, не может содержать столь большое население, как страна, занятая земледелием, но что дает возможность пастушеским народам достигать такой высокой численности, так это их способность к массовым перекочевкам и частая потребность ее использования в поисках новых пастбищ для своих стад. Племя, богатое скотом, тем самым, имело обильную пищу. В случае крайней нужды даже линия

[**PAGE 177**]

177

производителей могла быть использована в пищу. Женщины жили в более легких условиях, чем у народов, живущих охотой. Мужчины, смелые, благодаря объединению своих сил, и уверенные в своих способностях обеспечить пастбища для скота путем перемены места, вероятно, испытывали слишком мало опасений насчет обеспечения семьи. Эти совместные причины вскоре производили свое естественное и неизменное действие на популяцию, приводя к ее увеличению. Возникла необходимость более частых и быстрых кочевков. Постепенно занималась все более обширная территория. Опустошение все шире распространялось вокруг них. Нужда ущемляла менее удачливых членов общества, и наконец, невозможность поддержания такого количества населения становилась настолько явной, что нельзя было ей сопротивляться. Тогда молодое поколение отталкивалось от родителей и наставлялось исследовать новые районы и приобретать для себя более счастливые места силой оружия. "Для выбора перед ними был весь мир". Обеспокоенные испытываемой нуждой, упоенные надеждой на лучшие перспективы и преисполненные духа предприимчивости, эти бесстрашные авантюристы, должно быть, становились грозными противниками всех, кто противостоял им. Мирные обитатели стран, на которые они устремлялись, не могли долго сопротивляться этой энергии людей, действующих под давлением столь мощных побуждений. А когда они сталкивались с племенами, подобными им, соперничество перерастало в борьбу за жизнь, и они сражались с отвагой отчаяния, справедливо полагая, что карой за поражение будет смерть, а жизнь – наградой за победу...

Там, где существует неравенство условий, – а среди народностей пастухов оно обнаруживается скоро, – нужда, вызванная скудостью средств пропитания, должна жесточайшим образом сказываться

[**PAGE 178**]

178

на самых несчастных членах общества. Эта нужда также часто должна ощущаться и женщинами, подверженными случайным грабежам в отсутствие мужей и испытывающими постоянные разочарования в ожидаемых доходах.

Но даже и без знания подробной и интимной истории этих народов, достаточной для точного указания того, какая часть бедствий вызывалась в основном недостатком средств пропитания и в какой степени этот недостаток ощущался вообще, я думаю, что на основании всех сведений о пастушеских народах, которыми мы располагаем, можно справедливо сказать, что их население неизменно увеличивалось всякий раз, когда вследствие эмиграции или каких-либо иных причин увеличивалось количество средств существования, и что дальнейший рост населения сдерживался, а фактическая численность приводилась в строгое соответствие со средствами существования за счет действия нищеты и пороков.

Потому что, независимо от каких-либо порочных обычаев, которые могли господствовать среди них по отношению к женщинам и которые всегда осуществляют контроль численности населения, я думаю, следует признать, что война есть порок, а ее следствие – нищета, несомненно, вызываемая недостатком средств пропитания.

Глава VI

Нездоровые условия городов, в которых некоторые лица вынужденно загоняются по роду их занятий, следует рассматривать как некоего рода нищету, и даже ничтожнейшие ограничения на браки вследствие перспективы трудностей поддержания семьи можно справедливо

[**PAGE 179**]

179

отнести под ту же рубрику. Короче говоря, трудно представить себе какой-либо контролирующей популяцию фактор, который не подходил бы под описание какого-нибудь вида нищеты или порока.

Глава VII

Поскольку во времени не наблюдается очень больших изменений соотношения населения и средств существования, представляется, что население Франции и Англии очень близко аккомодировалось к средней продуктивности этих стран. Упадок матримониального духа, последствия порочных обычаев, война, роскошь, безмолвное, но все-таки несомненное истребление населения больших городов и тесные жилища, и неудовлетворительное питание большинства бедных препятствуют росту населения сверх количества средств существования и, если использовать выражение, которое на первый взгляд покажется непривычным, замещают необходимость больших и опустошительных эпидемий для подавления переходящего меру избытка. Страшная эпидемия чумы унесла 2 миллиона жизней в Англии и 6 миллионов во Франции, и не может быть никакого сомнения, что после того, как народ оправился от этого ужасного потрясения, отношение числа рождений к числу похорон в этих странах должно было значительно превышать то, которое наблюдается в любой из этих стран сейчас...

Единственным истинным критерием действительного и постоянного увеличения населения какой-либо страны является увеличение количества средств существования...

[**PAGE 180**]

180

Счастье страны абсолютно не зависит от ее бедности или богатства, от ее молодости или густоты ее населения, но зависит от скорости, с которой оно растет, от степени совпадения темпов увеличения средств пропитания и роста населения. Это совпадение всегда является наилучшим в новых колониях, где знания и трудовые навыки старого государства применяются на плодородных неиспользованных землях нового. В других случаях не имеет большого значения, - молодое государство или старое. Весьма возможно, что в настоящее время пищевые ресурсы Великобритании, приходящиеся на одного жителя, столь же обильны, как и две, три или четыре тысячи лет назад. И имеются все основания считать, что бедные и малонаселенные гряды Шотландского нагорья столь же истощены перенаселением, как и богатая и людная провинция Фландрии...

Видимо, голод является последним и наиболее ужасным средством природы. Сила роста населения настолько превосходит силу, с которой земля производит средства существования для человека, что человечество должна постигнуть гибель в той или иной форме. Людские пороки являются деятельными и могущественными министрами сокращения численности населения. В большой армии агентов уничтожения они являются предшественниками и часто сами справляются с этой ужасной работой. Но если бы они потерпели неудачу в этой войне истребления, то сезоны болезней, эпидемии, поветрия и чума двинулись бы ужасающим строем и унесли бы свои тысячи и десятки тысяч жизней. Если бы успех был все же неполным, то гигантский неотвратимый голод подкрался бы с тыла и одним мощным ударом привел бы население в соответствие с пищевыми ресурсами мира.

Глава X

Мистер Годуин рассматривает брак как нечестность и монополию.

[**PAGE 181**]

181

Допустим, что общение полов основано на принципах полнейшей свободы. Сам мистер Годуин не думает, что эта свобода привела бы к беспорядочным половым связям, и в этом я совершенно согласен с ним. Любовь разнообразия является порочной, развратной и противоестественной склонностью и не может иметь сколько-нибудь значительного распространения при простом и добродетельном общественном устройстве. Каждый человек, вероятно, избрал бы себе партнера, которому он оставался бы верным до тех пор, пока эта привязанность сохраняла бы преимущества для обеих сторон. Согласно мистеру Годуину, сколько детей имеет женщина и кому они принадлежат – не имело бы особого значения. Продукты и помощь незамедлительно потекли бы от места, где они избыточны, к месту, где их недостает. И каждый человек был бы готов советом и делом принять посильное участие в воспитании нового поколения.

Я не могу представить себе форму общества, которая в целом была бы столь же благоприятна для роста населения. Непоправимость брака, как это узаконено в настоящее время, несомненно, удерживает многих от брачных уз. Расторжимость связи, напротив, была бы наиболее мощным стимулом к ранней привязанности, а т. к. мы допускаем, что опасения насчет будущей обеспеченности детей отсутствуют, я не представляю, чтобы нашлась одна женщина из ста, которая бы в возрасте 23 лет не имела семьи.

При таких чрезвычайных стимулах к росту населения и нашем допущении, что всякие причины его сокращения устранены, численность его неизбежно увеличивалась бы быстрее, чем в любом обществе, которое до сих пор было известно. На основании брошюры, опубликованной доктором Стайлзом (*Dr. Styles*) и обсуждавшейся

[**PAGE 182**]

182

доктором Прайсом (*Dr. Price*), я уже упоминал, что обитатели отдаленных колоний Америки удваивают свою численность в течение 15 лет. Англия, конечно, более здоровая страна, чем отдаленные колонии Америки, а поскольку мы считаем, что каждый дом этого Острова является просторным и здоровым и имеются даже более сильные стимулы к обзаведению семьей, чем у отдаленных колонистов, то нет вероятных оснований считать, почему население, если это возможно, не могло бы удваиваться менее, чем за 15 лет. Но чтобы иметь полную уверенность в том, что мы не отходим от истины, мы только предположим, что период удвоения населения составляет 25 лет – темп увеличения, доподлинно известный для всех Северо-Американских Штатов.

[**PAGE 183**]

183

Из Мальтуса[1]
(Второе издание "Очерка о народонаселении")

Человек, который родился на свет, уже занятый другими людьми, если он не может получить средства существования от родителей, на помощь которых он вправе рассчитывать, и если общество не желает, чтобы он трудился, не может предъявить никаких прав на самое мизерное пропитание и фактически всюду лишен какой бы то ни было поддержки. На великом пире Природы для него нет свободного места. Она повелевает ему уйти и быстро водворяет свои порядки, если он не вызывает сострадания у кого-либо из ее гостей. Если эти гости встают и освобождают для него место, немедленно появляются другие незваные гости, требуя такой же благосклонности для себя. Слух о том, что все входящие получают долю, наполняет зал многочисленными претендентами. Порядок и гармония пира нарушаются, царившее прежде изобилие сменяется скудостью, а веселость гостей омрачается зрелищем нищеты и зависимости во всех частях зала и шумной назойливостью пришельцев, которые справедливо приведены в ярость, не получая ожидаемой доли. Гости слишком поздно осознают свою ошибку, состоящую в противодействии тем строгим порядкам по отношению к незванным гостям, которые установлены великой хозяйкой пира. Она же, желая, чтобы все гости пользовались изобилием, и зная, что не может обеспечить неограниченное их число, гуманно

1. Данная подборка сделана Г. Хардином. (*Perspectives in Biology and Medicine*, 1966, v. 9, p. 225).

[**PAGE 184**]

184

отказывает допускать новых пришельцев, когда ее стол уже полностью занят.

МАЛЬТУСУ

(Вордсворт, "Помянутое злом". Из "Дурных времен")

О, Мальтус! Будь ты жив сейчас!
Ты нужен миру. Мы, стяжая и плодясь,
Дары Природы оскверняем. Суетсяь
На пашне или глядя за скотом,
Свои таланты губим мы в пустом
И безрассудном оптимизме, будто мало
От корысти людской планета пострадала:
Наш страусиный ум не занят тем,
Как на земле создать стабильности Эдем.
Великий Дух! Уподобляясь тебе,
Не склонен приглашать я тех на пир,
Удел которых был бы жить в нужде
И видеть страждущий и бедствующий мир.
Явись и порази всех утопистов разом,
Кого не убеждает здравый разум!

[**PAGE 185**]

185

М. ХАЙДЕГГЕР

ЯЗЫК

/Сокращенный перевод/

Человек говорит. Мы говорим, бодрствуя и во сне. Мы говорим постоянно: и тогда, когда мы не произносим ни единого слова, а только слушаем или читаем, и даже тогда, когда мы, собственно, не слушаем и не читаем, а лишь выполняем работу или предаемся музам. Мы постоянно как-либо говорим. Мы говорим, поскольку разговаривать для нас естественно. Это не происходит из какого-либо особого волнения. Говорят, что язык присущ человеку от природы. Существует учение, что человек в отличие от животного и растения является существом говорящим. Это суждение говорит не только о том, что у человека наряду с другими способностями есть и способность говорить. Суждение хочет сказать, что лишь язык способствует человеку быть тем существом, которым он является в качестве человека. Как говорящий, человек является человеком. Вильгельм Гумбольдт сказал это. Но нужно поразмыслить о том, что такое: человек.

[**PAGE 186**]

186

2

Во всяком случае язык принадлежит ближайшему соседству человеческого существа. Повсюду встречается язык. Поэтому и не может удивить, что человек, поскольку он мысленно всматривается в то, что есть, сталкивается с языком, чтобы определить его в соответствующем отношении к тому, что обнаруживает себя в нем. Осмысление пытается создать представление о том, чем является язык во всеобщем. Всеобщее, определяющее каждую вещь, называется сущностью. Представлять всеобщее, доступное во всеобщем, является, с господствующей точки зрения, основной чертой мышления. Думая, действовать с языком, следовательно, значит: дать представление о сущности языка и ограничить его в сопоставлении с другими представлениями. Этому, кажется, будет посвящен доклад. Но в заголовке доклада не написано: о сущности языка. Там только сказано: язык. "Только" говорим мы и все-таки присваиваем своему намерению откровенно сверхширокое название, хотя и хотим сказать немного. Вместе с тем, говорить о языке еще хуже, чем писать о молчании. Мы не хотим наброситься на язык, для того, чтобы вместить его в совокупность уже установленных представлений. Мы не хотим свести сущность языка к одному понятию, так чтобы оно повсюду представляло полезную точку зрения на язык, успокаивающую всякое представление.

Обнаружить язык, это значит – привести не столько его, сколько нас на место его сущности: собрание в событие. О языке и только о нем хотели бы мы подумать. Сам

[**PAGE 187**]

187

3

язык является языком. Логически вышколенный, все рассчитывающий и потому большей частью высокопостигающий рассудок называет это суждение ничего не значащей тавтологией. Дважды повторяется одно и то же: язык – это язык, куда же мы пойдем от этого дальше? Но мы и не хотим идти дальше. Мы хотели бы, собственно, прибыть туда, где мы уже находимся. Поэтому подумаем: как обстоит дело с самим языком? Поэтому спросим: как пребывает язык как язык? Мы отвечаем: язык говорит. Серьезен ли этот ответ? Вероятно, но именно тогда, когда прояснится, что значит говорить?

Подумать о языке требует того, чтобы вы вошли в разговор языка, чтобы остановились у языка, т. е. у него, а не у нашего разговора. Лишь так мы постигнем сферы, внутри которой нам повезет или не повезет в том, что язык выразит нам свою сущность. Мы предоставляем языку разговаривать. Мы не хотели бы объяснить язык из другого, которым он не является, но не хотели бы и другое объяснить через язык. 10 августа 1784 г. Гаман пишет Герцену /рукописи Гамана, Ред. [1] УП, с. 151/:

"Если бы я был так красноречив, как Демосфен, то я не смог бы сказать ничего, кроме одного единственного слова, которое я повторил бы трижды: разум – это язык. Эту кость я грызу и буду грызть до самой своей смерти. Но до сих пор эта глубина остается для меня темной. Я все еще жду апокалиптического ангела с ключами к этой бездне".

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 188**]

188

4

Для Гамана эта бездна в том, что разум – это язык. Гаман возвращается к языку в попытке сказать, что такое разум. Взгляд на него падает в глубину пропасти. В том ли ее смысл, что разум покоится в языке, или же сам язык является бездной? О бездне мы говорим там, где отступаем от дна и где отсутствует дно, поскольку мы ищем дно и стремимся прийти к нему. В то же время мы не спрашиваем, что такое разум, но думаем вслед за языком и в качестве руководящего намека воспринимаем странное суждение: язык есть язык. Суждение не ведет нас к другому, в чем бы основывался язык. Оно также ничего не говорит о том, является ли сам язык основой для другого. Суждение: язык – это язык, заставляет нас парить над пропастью, поскольку мы пребываем в том, что он говорит.

Язык – это: язык. Язык говорит. Если мы позволим себе упасть в бездну, названную этим суждением, мы не умчимся в пустоту. Мы упадем ввысь. Эта высь открывает глубину. Обе пронизывают местность, в которой мы хотели бы быть, как дома, чтобы найти прибежище, для сущности человека.

Подумать о языке, значит: найти способ, как пройти к говорению языка, чтобы он произошел в качестве того, что предоставляет прибежище сущности смертных.

Что значит говорить? Ходячее мнение устанавливает говорение – это освоение инструментов озвучивания и слуха. Говорение – это освоение инструментов озвучивания и слуха. Говорение – это озвученное выражение и сообщение о движении человеческой души. Эти движения руководятся мыслями.

[**PAGE 189**]

Но не только вопрос о начале пытаются освободить из тисков рационально-логического объяснения, устраняют также и границы только логического описания языка. В противоположность исключительной характеристике словесных значений как понятий на первый план выдвигается образный и символический характер языка. Так прибегают к услугам биологии, философской антропологии, социологии и психо-патологии, теологии и поэтики, для того, чтобы обобщеннее описать и объяснить языковые явления.

В то же время, все эти высказывания с давних пор приписываются заранее [1] способу бытия языка. Таким образом, укрепляется уже утвержденный взгляд на сущностное целое языка. Поэтому грамматико-логическое, философско-языковое и научно-языковое представление о языке оставалось на протяжении двух с половиной тысяч лет неизменным, хотя знания о языке непрерывно увеличивались и изменялись. Этот факт можно было бы даже привести в качестве аргумента в пользу несокрушимой правильности руководящих представлений о языке. Никто не осмелится объявить обозначение языка как произносимого выражения внутренних душевных движений, как человеческую деятельность, как образно-понятийное изображение – неверным или даже третировать как бесполезное. Приведенное рассмотрение языка правильно, поскольку оно направлено на то, что может обнаружить исследование языковых явлений.

В сфере этой правильности движутся такие вопросы, которыми сопровождается описание и объяснение языковых явлений.

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 190**]

190

7

В сфере этой правильности движутся такие вопросы, которыми сопровождается описание и объяснение языковых явлений.

Конечно, мы слишком мало размышляем о странной роли этих правильных представлений. Они утверждают, как если бы они были несокрушимыми повсюду, поле различных научных воззрений на языке. Они уходят в старое предание. И все же они оставляют древнейшее сущностное выявление языка полностью незатронутым. Так, они, несмотря на свой возраст и понятливость, никогда не приходят к языку как к языку.

Язык говорит. Что происходит с его говорением? Где мы найдем его? Меньше всего в выговоренном. Именно в этом и кончается говорение. В выговоренном не(???)тимо говорение. В выговоренном говорение спрятано. В выговоренном говорение собирает способ того, как оно бывает, и того, что из него бывает – его пребывания, его сущности. Но больше всего и чаще всего встречается нам выговоренное лишь как прошлое разговора.

Поэтому если мы должны искать говорение языка в выговоренном, мы поступили бы хорошо, обнаружив чисто выговоренное, а не хватаясь за любое выговаривание. Чисто выговоренное это то, где окончание говорения, присущее выговоренному, является, со своей стороны, чем-то начинающим. Чисто выговоренное – это стихотворение. Вначале мы оставим это суждение в роли голого утверждения. Мы обязаны, если это удастся, услышать в одном стихотворении чисто выговоренное.

[**PAGE 191**]

ЯЗЫК – ЭТО ЗВУЧАНИЕ ТИШИНЫ. Тишина затихает, вынашивая мир вещи в своей сущности. Вынашивание мира и вещи способом затихания – это событие различия. Язык, являясь звучанием тишины, существует потому, что совершается различие. Язык пребывает как совершающееся различие мира и вещей. В звучании тишины нет ничего человеческого. Напротив, человеческое определяется в своей сущности, как языковое. Названное сейчас слово "языковое" обозначает здесь: свершившееся из говорения языка. Свершившееся таким образом, – человеческая сущность – приведено благодаря языку в свое собственное, так что оно перешло в сущность языка, в звучание тишины.

Чисто сказанное смертного говорения – это выговоренное стиха. Подлинная поэзия никогда не была более высоким способом */melos/* обыденной речи. Напротив, обыденная речь – это забытое и обветшалое стихотворение, из которого вряд ли мы сможем услышать зов. Противоположностью чисто выговоренного стихотворения не является проза. Чистая проза никогда не прозаична. Она поэтична и поэтому также редка, как и поэзия.

[**PAGE 192**]

192

9

Смертные говорят, поскольку они слушают. Они ловят призывной клич тишины в различии даже тогда, когда они не знают его. Служенье отнимает у различающего призыва то, что оно переводит в звучащее слово. Слушающе-отнимающее говорение является со-от-ветствием.

Человек говорит, поскольку он со-от-ветствует языку. Со-от-ветствие – это слушание. Он слушает, поскольку он принадлежит призыву тишины.

1960 г.

[**PAGE 193**]

193

ХРОНИКА

В феврале нынешнего года состоялись следующие семинары:

- 6 февраля - историко-теологический семинар, тема: "Учение Оригена о нравственности" и "Учение Оригена о воскресении из мертвых".
- 13 февраля – филологический семинар, тема: "Велемир Хлебников, историко-литературная справка."
- 20 февраля – историко-теологический семинар, тема: "Пауль Тиллих, мужество быть."

Ближайшие семинары:

- 29 февраля – филологический семинар, тема: Дискуссия по творчеству Велемира Хлебникова.
- 5 марта – историко-теологический семинар, тема: "Никейский собор и его проблематика."
- 13 – марта – филологический семинар, тема: "Велемир Хлебников и Осип Мандельштам".

Выставки на квартирах:

- Александр Исачев, живопись и графика
- Юрий Козлов и Вадим Филимонов – живопись.

Предполагаются:

- Валентин Левитин, монотипии и офорты.
- Валентин Мария, циклы фотографий /"Январь в декабре" и др./
- Валентин Мишин, графика.

Дискуссии, обсуждения:

- 8 и 15 февраля были проведены 2 вечера, посвященные творчеству участников литературной группы "Обериут".

[**PAGE 194**]

194

Предполагается поэтический вечер, посвященный 10-летию со дня смерти А. А. Ахматовой.

Отзывы о журнале, а также материалы для публикации просим высылать по адресу: 198020, Ленинград, Курляндская ул., д. 20 кв. 37.
Приемные часы членов редакционной коллегии по пятницам, с 18 до 20 часов
/адрес тот же/

Редколлегия:
Горичева Татьяна Михайловна
Кривулин Виктор Борисович
Рудкевич Лев Александрович